


10 335

1979


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ

Ն3-4

10.335
1979



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. Стихи. Перевод Ми-
хаила Синельникова и Ильи
Дадашидзе 3
- МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Стихи. Перевод Дмит-
рия Дадешкелиани 6

ПРОЗА

- КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Дождли-
вой ночью. Рассказ. Перевод Эммануи-
ла Фейгина 7
- ИРОДИОН КАВЖАРАДЗЕ. Мальчик из Ферей-
дана. Повесть. Авторизованный перевод
Майи Немировой 13
- УШАНГИ РИЖИНАШВИЛИ. Решение. По-
весть. 42
- ИРЭНА СЕРГЕЕВА. Тбилисские зарисовки 69

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ТИХОНОВА

- ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Страница воспомина-
ний. 75
- МАРК ЗЛАТКИН. Певец дружбы и братства 77

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГЕОРГИЙ МЕРКВИЛАДЗЕ. Динамика совре-
менного грузинского романа. Перевод Георг-
гия Маргвелашвили 81

115.239

3

1979

ВАСИЛИИ ЧАЧАНИДЗЕ. Уникальный документ, впервые увидевший свет	107
ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Смешное — не только смешно	112
ЛИДИЯ ЗЛАТКЕВИЧ Грузинских женщин имени	117



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

УШЕР СПЕКТОР. «Образ Грузии живет в моей душе»	120
--	-----

ОЧЕРК

ЮРИИ БУРЛАКОВ. Возвративший легенду	126
ОТАР ГИГИНЕИШВИЛИ. Альпинизм и литература о нем	132

ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ВОСПОМИНАНИЯ

ЗОЯ МАСЛЕНИКОВА. Портрет поэта	137
АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»	155
ХРОНИКА	158
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Гиви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТКИН, Исидор КОЗАЕВ, Георгий ЛОМИДЗЕ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Михаил МРЕВЛИШВИЛИ, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Эммануил ФЕЙГИН, Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

СОСТАРИЛСЯ Я!

Над лесом дерево парило,
 Напоминавшее орла,
 Но прынул вихрь, что было силы,
 И с корнем выломил крыла.
 На осень сетовать не стану.
 Как быть — уходит юность прочь...
 Но Время нанесло мне рану,
 Успело годы уволочь.
 Состарился я?
 Лук и стрелы
 На землю бросил?..
 Нет, живу!
 Упруги мышцы, руки целы —
 Натягиваю тетиву.
 Звенит стрела и к цели мчится.
 И чаша до краев полна.
 Мечта грузинская,
 Жар-птица,
 В мой перелиться стих должна.
 На осень сетовать не надо,
 Пройдет и эта полоса.
 И вдохновенная прохлада
 Мои возносит паруса.
 Мой тур зовет...
 Еще усилье —
 Я на скале, в глуши лесной.
 Широколиственные крылья
 Шумят — не вянут за спиной.
 Старею?
 Разве на закате
 Мечта огчизны?..
 За века
 Дано ль иссякнуть благодати,
 Святой работе родника?
 В моей груди, в корнях дубровы
 Сокрытое в былые дни,
 Окрепни, молодое слово,
 Живая искра, полыхни!

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

ქ. მარტვილს ს. ს. სავ. სსრ
 სავცემწერთა კავშირი
 ბიბლიოთეკა

ГДЕ ТЕ ЛАСТОЧКИ?



Где ласточки — где спутницы мои?
Все меньше света в небе надо мною.
Все ближе ночь.
Как скоро за спиною
Остались дни беспечные любви!

Как быстро схлынул юности угар!
Оглянешься — на всем черты разлада...
Лишь ветер, как безумный сазандар,
Еще шумит за частоколом сада.

Он, как Нерон, хмелеет от огня,
Которым осень обжигает клены.
Он свищет одичало.
И меня
Томит как прежде шум листвы спаленной.

И журавли, в размеренном строю
Летящие над пажитью и логом,
Курлычат:
— Помнишь молодость свою?
Где ты ее утратил ненароком?

И ветер кличет:
— Голова твоя
Вся в инее, вся в изморози белой!
Ах, господи, еще не сломлен я
Напором лет — ордою оголтелой.

Еще упрямой силой налитой
Крепится стих, и вешний сок томится
В крови моей.
Но дымкой золотой
Мелькнула юность, вольная как птица.

И на твоих, любимая, щеках
Истаял жар томления и пыла.
Где ясный взор, крутых бровей размах?
Как время облик твой преобразило!

В года надежд, исканий, маеты
Что был я без тебя? Как хлеб без соли!
И вот, смотри, как поседела ты —
Так под метелью обмирает поле.

Как будто серебро моих стихов
Уже покрыло наподобье плата
Те пряди, что сплетением силков
Навек меня опутали когда-то.

СРЕДЬ ЛУННЫХ ТЕНЕЙ



Когда в тополиных ветвях запестрели
Закатные тени,
Зазыбься легко,
Услышал я издали песню Ишхнели —
Томительный, нежный напев «Сулико».

Казалось, и вправду, любовь, что угасла,
Вслепую,
 сквозь сумерек синий наплыв,
Искал он,
Ее окликая напрасно,
Тоскою себя самого растравив.

И, слушая песни мотив немудрящий,
В последних лучах догоревшей зари
Я видел, как душной пыльцою,
Летящей
С черешен, присыпало кудри твои.

Как вились они на ветру в беспорядке,
Волною спадали на плечи и грудь.
Тянулись ко мне, чтобы каждую прядкой,
Как путами, сердце мое захлестнуть.

Когда бы я мог, то и сам бы, родная,
Стянул их на сердце надежным узлом.
Смотри, как сгущается темень ночная,
Как мгла нависает над спящим селом.

Кто знает, какие растрava и мука
Украдкою нас ожидают за ней?
Не нас ли с тобою настигнет разлука
За лунными бликами майских теней?..

Перевод Ильи ДАДАШИДЗЕ



ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Молюсь я у древнего знания храма,
предшественник мне передал все, что мог.
Давно без какой-либо школьной программы
века преподносят нам вечный урок.
Что знаю я? То, что дано мне с рожденья,
отдам я собрату, и станем равны.
И ты, что повержен был мною в сраженье,
ни разу не знал униженья цены.
Что знаю я? Дружбе высокую цену,
о Грузии мысль не уместишь в строку.
Чту скромность подчас мироздания центром,
а с высокомерием жить не могу.
Да будет забвению вечному предан
сумевший остаться от всех в стороне.
Я ж тверд и спокоен, прославленных предков
и сила и опыт бошуют во мне.
Я равен самшиту, вновь давшему листья,
священный, Поэзия, мой ритуал.
Вглядевшийся в души собратьев, как в лица,
себя неожиданно там я узнал.

*Памяти актера
Георгия ШАВГУЛИДЗЕ.*

* * *

Скольким людям, ушедшим из мира сего,
принести не успели мы радость и горе!
Он являлся иным, и однажды его
досчитаться не смог этот солнечный город.
Я мечтал с ним пройтись по проспекту хоть раз.
И в любую мечтал познакомиться пору.
Ну а он под конец опечалил всех нас,
тот, кого досчитаться не смог этот город.
Эту пустошь ничем не заполнить иным,
только тягостный ком подбирается к горлу,
потому что никто уж не встретится с ним,
с тем, кого досчитаться не смог этот город.
Просто нет его с нами, его одного,
но при вспышке какого-то ясного взора
мы увидим лицо человека — того,
досчитаться кого не смог этот город.
И представ пред собою уже без прикрас,
мы внезапно заметим летящие годы
и подумаем только, дай бог, чтоб и нас
досчитаться б однажды не смог этот город...

Перевод — Дмитрия ДАДЕШКЕЛИАНИ

ДОЖДЛИВОЙ НОЧЬЮ

Рассказ

ИЗ ЦИКЛА «СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

К ночи ливень разошелся во всю свою разбойничью силу, он разом потушил и без того редкие керосиновые фонари на улицах Хони и разметал всех прохожих и проезжих по подъездам и подворотням. И только один фаэтон с поднятым верхом с трудом продвигался по узкой улице, похожей сейчас на бурную горную реку. Вода сверху, вода снизу, и шумела она так, что не было слышно ни колокольчиков на сбруе, ни хриплого дыхания загнанных лошадей.

Должно быть, извозчик не впервой ехал этой дорогой, в кромешной темноте он безошибочно объезжал глубокие выбоины, находил невидимые повороты и затопленные мостики. В такой потоп только сумасшедшие запрягают лошадей, но как откажешь Дахундаре, шутка ли, он целый рубль обещал за одну поездку. И не медью, а серебряный. Откуда они у него такие новенькие, сверкающие? Что-то подозрительно быстро разбогател голодранец.

...Меки на одном боку уже выспался, но вино еще не отпустило его, слишком много было выпито со вчерашнего утра. Пришла беда, не видать ему в жизни белых сванских быков, не ходить ему за плугом по своей борозде, а Дахундара друга лекарства от горя и тоски не знает: выпил хорошенько — и море по колено.

Таскал его Дахундара из духана в духан — и на плоту они гуляли у духанщика Сулико, и в погребке «Не скучай». Меки жадно накиннулся на вино и, когда захмелел, сразу вырвался из упряжки — черт с ним, пропадать, так на полном скаку, и он пел и плясал и под шарманку, и под дудуки, а когда музыканты уходили, Дахундара подыгрывал ему на табуретке. С кем-то Меки целовался, кому-то клялся в вечной дружбе и верности, а какому-то старичку, — рыдая у него на груди, — напрашивался в сыновья.

И он угощал, и его угощали.

Туман, туман, все как в тумане...

Сам себя не узнает Меки — никогда не видел он себя таким. То он вдруг сорвется со стула, а почему и зачем уже

не помнит. То подолгу смотрит в одну точку, а там ничего нет, пустота... А как не вовремя и непонятно исчезают слова: со-
брался что-то важное сказать другому человеку, а губы молчат.

Пока ехали на фаэтоне, Меки немного пришел в себя, но душа его этому не обрадовалась — он сразу замкнулся, перестал отвечать на вопросы Дахундары и даже не спросил, куда они в такой потоп спешат. Ему уже было все равно, куда потащит его эта колымага и где его застанет утро, лишь бы сейчас не возвращаться в деревню. Таким он вернуться не может — потом, потом, через неделку или две, когда сердце не много смирится.

А Дахундара борется со сном, не приведи господи проехать мимо того дома. В такой ливень это не мудрено. И тогда прощай праздник — то, что задумал Дахундара, венец всему веселью. Меки он пока ничего не сказал, может, в доме мадам Тасико другие гости и мамзели уже заняты. Так зачем напрасно разжигать парня.

— Знаешь, дорогой, как я люблю в такую погоду ездить на фаэтоне. Сидишь себе как князь под верной крышей, а сверху дождь: тут и тук, — сказал Дахундара и добавил по-русски: — Какая музыка, прямо прелесть!

— Как хорошо, Даху, что ты все в этом мире любишь, — печально отозвался Меки.

— Ты что, глупцом меня считаешь, парень! — обиделся Дахундара. — Как это все? А я мотыгу не люблю, прикажешь с ней целоваться? Не буду, все равно не буду. И кирку не люблю. И Тарасия Хазарадзе. Тебе мало?

— Ну чего ты прицепился к Тарасию, — сказал Меки. — Чем он тебе не угодил?

Дахундара поправил на коленях кожаную полость, откашлялся и тихо сказал:

— Послушай меня, молодой человек. Сын Адама никогда не должен забывать, что он смертен, что он приходит в этот мир на один день. Да, да, не качай головой — мы все в этом мире жалкие однодневки, а уходим из него уже навсегда. Все кончается там, за кладбищенской оградой. Забудешь об этом — прощайся тогда со всеми радостями жизни, засядут в твоём сердце два страшных дьявола — жадность и зависть, и не будет тебе покоя до самой могилы. Изведешь ты себя злой мыслью, почему у тебя меньше денег, чем у ближнего твоего, почему у него домик под красной черепицей стоит, а ты на шаршивую дранку не наскребешь, почему он на золотом троне сидит, а ты на хромой табуретке. И твой Тарасий Хазарадзе тоже хорош -- обманывает народ. Посадите меня на трон, поет он, и будет вам полный порядок. Поет, поет, пташечка, так я ему и поверил! В этом смутном мире даже казаки Николая Второго не смогли порядок навести. Понял? Искатели трона только мешают людям жить.

Дахундара не закончил свою проповедь.

— Стой! — закричал он извозчику.

Фаэтон остановился. Дахундара откинул полость и со-
скочил прямо в бурлящую воду. За оградой среди мокрых де-
реьев смутно желтели слабо освещенные окна.

— Приехали, Меки, давай сходи, — сказал он и положил на ладонь извозчика обещанный рубль. Извозчик отъехал, а они перепрыгнули через канаву и укрылись под железным козырьком калитки.

— Куда ты меня привез, Даху? Духаном здесь не пахнет, и шарманки не слышно, — сказал Меки.

— А это уже все было, мой дружок, — почему-то шепотом сказал Дахундара. — Разве мы в чем-нибудь отказали душе своей? Вчера багдадское пили, сегодня утром чистойшей чашей опохмелялись, а соменка какого нам подали, с какой подливкой! А шарманку ты какую крутил — настоящая «Нечада» из самой Одессы! А фаэтон с колокольчиками, это тебе не пролетка кривого Миго! Может, ты скажешь, чего еще не было?

Меки мотнул головой...

— Спасибо, Даху. Все было, все как у людей.

— А вот не все, — хихикнул Дахундара. — Не довертели мы до конца колесо. Кутеж без девочек, разве это кутеж?! Ну что мы потом вспоминать будем? Только соменка с укусом. Нет, брат. Раз уж сошел с ума, не лезь сам в смирительную рубаху. Видишь окна?

— Вижу.

— В этом доме такие мамзели живут — на них что верхнее, что исподнее, все из шелка и парчи. Ну, что скажешь? Деньги ведь твои?

Меки промолчал, но не потому, что деньги тратились из его кармана — его само слово «мамзель» на месте пришибло. Он еще не бывал в постели у женщины, но какие они, эти хонские мамзели, уже хорошо знал. Цирюльник Самуил только о них и говорил, возвращаясь по понедельникам из города. Соберет вокруг себя молодых неженатиков и такого накрутит, что они потом несколько дней как дурные ходят. И так он с этими девками целовался, и этак. На подробности цирюльник не скупился — все рассказывал старый похабник, и что было, и чего не было. Смотреть на него противно — глазки масляные, а верхняя губа все подергивается, будто на ней муха сидит.

А сейчас Меки сам оказался у этого загадочного дома. И все-таки спасибо Даху, угадал — признался самому себе Меки, и в его разгоряченной винными парами голове как стая ослепительных молний пронесли пугающие, мучительные и все же влекущие к себе соблазнительно-чарующие видения. В залитую светом комнату — большие невиданные лампы горят по всем углам — врываются белотелые, пышноволосые женщины. На них, как и на Еве, ничего — даже ладонями срам свой не прикрыли. Как льнут они к нему, отталкивая друг друга, какие какие бестыжие слова нашептывают на ухо! А какую выбрать?

Великая тайна плоти сводит его сейчас с ума. Разве он жил до этого часа? Он спал, и снились ему только серые скучные сны. Но вот он, слава богу, проснулся и увидел, как живут свободные люди: без страха, без забот, ни господина, ни госпожи над твоей головой, иди куда хочешь, возвращайся

когда хочешь, ты сам себе полный хозяин, сам вершитель своей судьбы. В каком кувшине тебя держали, несчастный ты человек!? И как легко, оказывается, сбросить ярмо и вырваться на волю. Глупый ты, глупый, собирал деньги, копейка к копейке, чтобы привести с базара пару сванских быков, и не знал, деревенщина, что на такие деньги лучшие радости можно купить. Этот мир, оказывается, не на быках стоит.

— Подожди меня здесь, — опять шепотом сказал Дахундара и проскользнул в калитку.

— И я с тобой, — возразил Меки, но и шага не успел сделать — первый удар сердца о грудную клетку был таким сильным, что парень едва устоял на ногах. Удар и еще удар, и уже нечем дышать. Что-то похожее уже однажды было с ним. Прошлой весной в Сатурийскую долину пришла большая вода — река вырвалась из берегов, унесла всю прошлогоднюю солому и вместе с одним стогом подхватила и корову Аслана Маргвеладзе. Немало добрых молодцев стояло в тот час на берегу, но никто не сдвинулся с места. А Меки не удержался — измучила его быстрая вода, пока он вывел на смерть перепуганную корову на сушу. И все было в порядке, если не считать одной-единственной минуты — сдирая с себя рубаху, он вдруг ощутил этот первый сокрушительный удар сердца. И тогда так же нечем было дышать.

— Пошли, нас ищут, — сказал Дахундара и взял его как слепого за руку. — Как ты дрожишь, парень! Продрог?

— Нет, Даху, жарко мне, — невесело отшутился Меки.

— Значит, боишься, — сказал Дахундара. — Смотри, парень, заметят мамзели, что ты новичок, — засмеют. И дороже возьмут. Прошу тебя, держись. Будь крепким, как стамбульский кремень.

Дверь гостям открыли без стука. Они вошли в переднюю, высокая женщина в черном сказала приветливо: — Дахундара, душка, закрой дверь на задвижку. — И исчезла так же бесшумно, как и появилась. По всему видно, Дахундара считался своим человеком в этом доме. Пройдя немного по узкому коридору, он подвел Меки к полуоткрытой двери и сказал:

— Заходи в эту комнату. И сиди себе спокойно. Я буду рядом, ты ничего не бойся — они тут свое дело знают.

Дахундара тоненько заржал и втолкнул Меки в комнату. Легко сказать, сиди спокойно, когда страшный молот вот-вот пробьет тебе грудную клетку.

Меки оглядел комнату: старый, почерневший комод, на нем небольшое круглое зеркало и множество фотографий в рамках из морских ракушек. Полкомнаты занимала двуспальная железная кровать с горой пестрых подушек самой различной величины, у окна два плетеных стула. С потолка свисала большая чугунная лампа с зеленым бумажным абажуром. Лампа коптила, и Меки не сразу решился подкрутить фитиль, но в комнате быстро темнело, и от этого она становилась еще беднее и неприятней. Меки подтянулся на цыпочках и поправил фитиль.

В комнате стоял запах недавней стирки и каких-то парфюмных карбидов. Меки подумал: ходят в шелках и шарфе, а живут как простые прачки.

Экраны
Экраны

* * *

«Легко сказать, сиди спокойно, когда этот страшный молот вот-вот пробьет тебе грудную клетку».

* * *

Он присел на плетеный стул, и тот противно заскрипел под ним. Меки сразу пересел на другой. «А может, совсем уйти отсюда», — подумал Меки, но тут же почувствовал, что не встанет и никуда не уйдет. От волнения у Меки закружилась голова, когда он представил себе все, что сейчас произойдет: в комнату влетит красивая мамзель, обнимет его своими белыми руками и утопит в этих роскошных пестрых подушках. И тут ему стало совсем плохо — страшился он этих объятий и нестерпимо жаждал их. А ко всему этому ударила в колокол совесть. Измена! Зачем ты здесь, если любишь Талику?

Но и этот колокол умолк — бесстыдное желание обладать женщиной заглушило все колокола мира.

За стеной хохотали и визжали — это Дахундара развлекал мамзелей своей любимой песней.

По земле хожу,
Не в земле лежу —
Вот и не тужу!..

В комнату вошла женщина. Не поздоровавшись, даже не посмотрев на него хорошенько, женщина прошла мимо привставшего гостя, словно это не живой человек потянулся к ней навстречу — так проходят мимо пустого стула, мимо всех привычных и наскучивших вещей.

Женщина выглядела крайне усталой: усталые глаза, усталые, безжизненно свисающие руки, усталая, нерадостная походка и даже халат на ней казался усталым и старым — на живом женском теле такой красивый ситец играл бы всеми красками весны и молодости, а на ней он как на деревянной вешалке.

Хоть и малоопытен был Меки, но сердцем понял: не той усталостью устала женщина, которая валит с ног жницу в поле или судомойку в духане.

Когда она вошла, ее наскоро уложенная вокруг головы коса распустилась и упала на спину. Зная, что Дахундара знатного гостя не приведет, женщина не подновила румян на лице, а остатки прежних уже не прикрывали ее дряблую в оспенных рябинках кожу.

Подойдя к постели, она выбрала подушку, несколько взбила ее и положила у высокой спинки кровати. Затем она скинула сандалии и так бессильно свалилась на постель, что со стороны можно было подумать: никогда ей уже не подняться с этой кровати.

Кто-кто, а Меки повидал на своем веку уставших людей, но такой мертвой усталости он еще не видел. Все, что женщина сделала, укладываясь в постель, она с радостью бы не делала, но на одном крыле куда улетишь.

Меки ждал от этой женщины чуда, еще неслыханных слов, еще не испытанных радостей. Большого светлого праздника ждал он от первой своей женщины. Будто Она и Он еще только-только сотворены богом и еще не успели познать друг друга. Вот она — его первая Ева, вот он — ее первый Адам. И первый грех должен свершиться здесь, в этой бедной комнате. А эта усталая женщина даже не посмотрела на него, ничем—ни словом, ни взглядом, ни движением—не обнаружила она, что видит Меки и что кроме нее самой есть в комнате другой человек.

Женщина неподвижно лежала на кровати, прикрыв глаза рукой.

Меки вдруг перестал слышать удары своего сердца. Он вздохнул с облегчением: успокоилось, наконец.

— Салогти сними, парень, постель мне испачкаешь, — сонно пробормотала женщина. Меки подождал, но больше она ничего не сказала.

Она лежала совсем тихо, не снимая руки с лица.

Меки потерянно смотрел на нее.

Женщина повернулась на бок, халат распахнулся, обнажив белую красивую ногу, она пошарила рукой, но до полы не дотянулась и снова замерла.

Послышалось мерное дыхание спящего человека. И Меки подумал: дай ей волю, она будет спать так до второго пришествия, а на все другое ей наплевать и ничего ей больше не нужно.

Меки на цыпочках подошел к кровати, прикрыл обнаженную ногу женщины и, положив рядом с подушкой чистую, не смятую еще трехрублевку, вышел из комнаты. И пока он крался по коридору, слышался ему визгливый смех мамзелей и бесшабашная песня Дахундары.

А дождь все лил.

Перевод Эммануила ФЕЙГИНА

МАЛЬЧИК ИЗ ФЕРЕЙДАНА

П о в е с т ь

Слышали ли вы что-нибудь о ферейданских грузинах, о наших братьях и сестрах, насильственно оторванных от родины, от ее культуры и материнского тепла? Ферейдан и сегодня — незатихающая боль каждого грузина.

На протяжении трех веков — шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого, самых трагических в истории Грузии, сефевидский Иран и оттоманская Турция терзали Грузию, стремясь покорить вольнолюбивый грузинский народ.

По свидетельству иранского историка Искандера-Мунши, один только шах Аббас во время своего завоевательного похода на Грузию в 1616 году угнал из Кахети в Иран свыше 130.000 грузин и грузинок. Стон и плач стояли тогда над грузинской землей, за всю свою многовековую историю не знавшей столько горя и скорби.

Шли годы, десятилетия, века. Оторванные от родины, угнанные в рабство грузины постепенно теряли родной язык, национальные обычаи, культуру, ассимилировались с народами различных стран, в которые их забрасывала жестокая судьба.

На юге Ирана, в Ферейдане, и по сей день существуют грузинские поселения. Общая численность живущих там грузин — тридцать тысяч человек. Насильственно обращенные в мусульманскую веру ферейданские грузины сумели, однако, сохранить родной язык и многие национальные обычаи. Из поколения в поколение передают они воспоминания о горячо любимой родине — «Большой Грузии».

Свыше трех столетий считаются ферейданские грузины иранскими подданными, но и поныне они ограничены в политических правах и в праве на образование. Большинство из них едва умеет читать и писать, а женщины, как правило, вообще неграмотны.

Мы в Грузии долгие годы ничего не знали о жизни своих ферейданских братьев. Иранские власти ревностно охраняли их от посторонних глаз, стремясь вытравить у них даже мечту о родине, но мечта эта жива и поныне.

Лишь в 1871 году одному из ферейданцев, жителю селения Марткопи Атаму Оникашвили чудом удалось преодолеть искусственно воздвигнутый иранскими властями барьер и приехать в Грузию. С распростертыми объятиями встретили его видные политические и общественные деятели Грузии тех лет — Акакий Церетели,

Якоб Гогешашвили, Георгий Церетели, Дмитрий Бакрадзе, ^{Серго} Месхи, Дмитрий Кипиани, Григор Орбелиани, Петре Умикашвили. Из рассказов Атама Оникашвили впервые услышали тогда в Грузии о тяжелой доле ферейданских грузин.

Едучи в Грузию, Атам Оникашвили рассчитывал добиться помощи для ферейданских грузин, решить вопрос их возвращения на родину. Но судьба ферейданцев, конечно, не волновала царское правительство. Ничего не добившись, Атам Оникашвили покончил жизнь самоубийством.

Однако приезд Оникашвили на родину не прошел бесследно.

Теперь грузины уже кое-что знали о своих братьях, живущих в Иране, добивались установления с ними связи. В 1894 году известный общественный деятель Ладо Агниашвили после долгих хлопот получил-таки разрешение посетить Ферейдан. Немалые трудности выпали на долю этого мужественного человека. По возвращении на родину он написал книгу о жизни ферейданцев.

Так, вопреки всем препятствиям, чинимым иранскими властями, были приоткрыты ворота в Ферейдан.

События, о которых рассказывается ниже, подлинные, я лишь позволил себе изменить имена и фамилии их участников.

От автора

...В конце 20-х годов в столице Ирана — Тегеране, в советском торговом представительстве работал бухгалтером Силован Челидзе. Человек высокообразованный, он свободно владел не только грузинским и русским, но и персидским, и турецким языками, прекрасно знал историю и душой болел за благополучие своего народа.

В Тегеране он проживал с женой — Саломе, женщиной добросердечной и отзывчивой. Были они прекрасной парой, только вот бог не дал им детей, и это омрачало их семейное счастье.

Еще в Грузии Силован много слышал о ферейданцах, читал о них и, приехав в Тегеран, с первых же дней стал добиваться разрешения посетить Ферейдан. Но иранские власти под различными предлогами отказывали ему в этом. Однако Силован не отступал. Здесь, в персидской столице, он то и дело слышал рассказы о бесправном, нищенском существовании своих братьев. Лелея надежду хоть чем-нибудь помочь им, Силован продолжал добиваться возможности побывать в Ферейдане. Но все предпринятые им шаги ни к чему не приводили, и только когда срок его заграничной командировки уже подходил к концу, он неожиданно получил долгожданное разрешение. На следующий день Силован вместе с женой выехал в Ферейдан.

Картина, представившаяся его глазам, превзошла наилучшие ожидания. Большинство ферейданцев жили в землянках или сбитых на скорую руку хибах без потолка, не имели даже представления о книге, газете, о том, что происходит в мире, о новой жизни Советской Грузии.

Радостно, как самых дорогих и близких людей, встретили гостей из «Большой Грузии» ферейданцы. Каждый старал-

ся звать их к себе, угостить. Было бы время, Силован и Саломе побывали бы в каждом доме, так хотелось им хоть добрым словом согреть сердца оторванных от родины своих братьев и сестер. Но ограниченные временем, они были вынуждены огорчать отказом гостеприимных хозяев.

Вокруг Силована и Саломе всегда былолюдно, каждый жаждал послушать их рассказы о жизни в «Большой Грузии», которая казалась сказкой, и, слушая рассказы Силована, ферейданцы недоверчиво переглядывались.

Ребятишки тоже с интересом слушали гостей, ни на шаг не отходили от них, стремясь привлечь к себе их внимание. Особенно усердствовал один мальчуган лет девяти. На его лице, так вымазанном сажей, что его легко можно было принять за негртенка, нескрываемым любопытством горели большие карие глаза. Он жался к гостям, старался притронуться к их одежде, забегал вперед, открывая дверь, первым кидался принести им нашитья.

— Ты чей, мальчик? — ласково погладил его по голове Силован.

— Папиашвили, Силован-хан, — ответил мальчишка.

— Какой же я хан? — удивился Силован. — Я такой же крестьянский сын, как и ты.

— Нет, — не согласился мальчик, — ты одет не по-нашему.

— В «Большой Грузии» все так одеваются, — пояснил Силован. — А как тебя звать?

— Шакрула.

— Что передать от тебя нашим мальчикам, Шакрула?

— Я сам поеду в «Большую Грузию» и сам расскажу им нашу историю, — убежденно ответил Шакрула.

— Поедешь в «Большую Грузию»?!

— Да! Вот сяду в «самоходку», на которой вы приехали, и поеду. Ты дашь мне ночлег?

— Такому чумазому? Да тебя же засмеют наши ребятишки. У вас нет воды умыться?

— Вода-то есть, — серьезно ответил Шакрула, — это мама специально вымазала меня, чтобы чужой не сглазил.

— Чужие — это мы?

Шакрула потупился.

— Если мы чужие и такие страшные, как же ты собираешься ехать с нами? — допытывался Силован.

Глаза мальчика озорно блеснули.

— Это мамы наши вас боятся. Говорят, запах чужих людей вредит детям. А я не боюсь! — Дотронувшись до одежды Силована, Шакрула спросил: — Заберите меня с собой, Силован-хан, я пригужусь вам — буду носить воду, пасти овец. Я так хочу попасть в «Большую Грузию»!

Силован и Саломе молча переглянулись. Им обним понравился мальчуган. Но его просьбу они, естественно, восприняли как ребячий каприз.

Пребывание супругов в Ферейдане подходило к концу. На прощанье крестьяне попросили их сфотографироваться с ними. И когда все расселись и фотограф уже настроил аппарат,

вдруг появился Шакрула. Но подойти не посмел. Застенчиво улыбаясь Силовану, он остановился поодаль. Его лицо уже не было вымазано сажей.

Заметив мальчика, Силован подозвал его. Очастливленный вниманием почтенного гостя, Шакрула быстро подбежал к Силовану и пристроился у него в ногах. Так и снял их фотограф.

Мальчик ни на секунду не отходил от Силована, был чем-то очень взволнован, то и дело оглядывался на дорогу. Наконец появился тот, кого он с таким нетерпением ждал: молодой, с обветренным лицом бедно одетый мужчина. Подбежав, Шакрула схватил его за руку и подвел к гостю:

— Познакомься, Силован-хан, это мой отец Навруз.

Мужчины пожали друг другу руки.

— У вас прекрасный сын, — сказал Силован, потрепав Шакрулу по плечу.

— Благодарю вас, батано, — ответил довольный отец. — Но видите, что задумал: поеду, говорит, с Силован-ханом в «Большую Грузию».

— Вот как?! Значит, он задумал это всерьез? А ты не соскучишься, Шакрула, по родителям, по своим близким?

— Разве в «Большой Грузии» не мои близкие? — совсем по-взрослому возразил мальчик.

— Разумеется, — согласился Силован. — А если тебе захочется вдруг домой? От «Большой Грузии» до Ферейдана очень далеко.

— Знаю, Силован-хан, возьмите меня, — продолжал просить мальчик.

— А что скажете вы? — обратился Силован к отцу Шакрулы.

— Скажу: пусть мой сын увидит мир, станет человеком, может быть, потом он поможет и нам. До каких пор должны мы жить в такой нищете, темноте? Мы хотим учиться, хотим жить так, как живут все дети нашей общей родины-матери. Вы приезжаете к нам изредка на два-три дня, рассказываете о Грузии, а когда уезжаете, наши сердца еще больше разрываются от боли, мы чувствуем себя еще более обездоленными. Неужели так будет вечно?

Силован отвел Навруза в сторону, и они долго о чем-то беседовали. Стоя поодаль, Шакрула бросал на них нетерпеливые взгляды, он знал, что сейчас решалась его судьба.

Наконец отец подозвал его. Шакрула хотел было подбежать, но ноги от волнения стали словно ватные.

— Батано Силован говорит, что «Большая Грузия» отсюда далеко, ехать надо целую неделю.

Испугавшись, что Силован откажется взять его, Шакрула перебил отца:

— Но мы же не лешком туда пойдем!

— Так-то это так, — согласился Навруз, — а если соскучишься по матери?

— Соскучусь?! — удивился Шакрула. — У меня не будет на это времени, отец! Я должен стать ученым человеком. Вот тогда вернусь, порадую мать и тебя, и всех ферейданцев.

Отпусти меня, отец, иначе все равно убегу и догоню. Силован-хана в дороге.

Навруз обнял сына за плечи, привлек к себе:

— Хорошо, сынок, поезжай, может, и вправду человеком станешь.

Вся деревня вышла провожать Силована и Саломе. Слышались прощальные возгласы, пожелания доброго пути:

— Расскажите о нас в «Большой Грузии»!..

— Пусть не думают о нас плохо!..

— Не забывайте нас, приезжайте чаще!..

— Счастливого пути, дай вам бог счастья!..

Прощаясь с крестьянами, супруги выжидающе поглядывали на дорогу: Шакрулы все не было. Они уже решили, что он передумал или родители мальчика не захотели отпустить его, как вдруг появились Шакрула и Навруз. Глаза мальчика были заплаканы.

— Иди сюда, сынок, иди ко мне, — ласково позвала Саломе, которой отныне предстояло заменить мальчику мать. Навруз порывисто обнял сына и подтолкнул его вперед. Не оглядываясь, Шакрула бросился к машине. Сельчане удивленно смотрели то на Шакрулу, то на Навруза, а дети, сообразив, наконец, что их товарищу уезжает с гостями, зашумели:

— Мы тоже поедем!

— Мама, и я хочу в «Большую Грузию»!

Дети тянулись к Силовану и Саломе, преграждая машине дорогу. Вдруг откуда ни возьмись к машине подбежала девочка и обеими руками схватила руку Шакрулы:

— Уезжаешь?! Кто же будет играть со мной? Кто будет меня защищать? Нет, нет, не отпущу тебя! Оставайся или забирай меня с собой!

Шакрула побледнел. Он растерянно переводил взгляд с девочки на Силована.

Казалось, еще мгновение, и он выпрыгнет из машины, останется. Но затарахтел мотор, машина двинулась. Мать маленькой Лейлы подхватила рыдающую дочурку на руки.

Машина ускоряла ход, оставляя позади гостеприимных ферейданцев. Шакрула сидел, словно оцепенев. Прикрыв лицо руками, он с трудом сдерживал рыдания. Сейчас, когда исполнилась его мечта, он вдруг ощутил страшную пустоту, и тоска по близким, с которыми он расставался, охватила его ребячье сердце.

Отъехали уже довольно далеко, как вдруг Шакрула попросил остановить машину.

— Ты что, сынок? — спросила Саломе, прекрасно понимая, что происходит в душе мальчика.

Не ответив, он взбежал на пригорок и, приложив руку к глазам, стал всматриваться в сторону Ферейдана, где он родился и вырос, где остались его родители, родственники, товарищи. Но увидел лишь Цверисмта¹.

Силован и Саломе настороженно следили за мальчиком.

¹ Название горы, буквально — вершинная гора.

Водитель, которому надоело ждать, включил мотор, машина громко зафырчала, но мальчик продолжал стоять на своем месте, не обращая на нее никакого внимания.

— Хотите, чтобы нас застала ночь в дороге и мы стали добычей диких зверей? — ворчал водитель.

— Подождите, — остановил его Силован, боясь неосторожным словом вспугнуть Шакрулу. Но водитель ждать не хотел.

— Эй ты, парень! — громко крикнул он. — Хочешь, оставайся, мы уезжаем!

Шакрула словно очнулся, одним духом сбежал с пригорка и прыгнул в машину.

Исфаган, старинный город с узкими улочками, точно зажатый домами, встретил их жарой и духотой.

Привыкший с рождения к вольному воздуху гор, Шакрула не находил себе места, иногда ему казалось, что он не выдержит и задохнется.

— Давайте уедем побыстрее из этой большой деревни, — уговаривал он Силована и Саломе. — Моя маленькая деревня в сто раз лучше.

Одежда Шакрулы никак не подходила для исфаганской жары. На нем было длинное пальто, широкие шаровары, бушлат из грубошерстного сукна, на ногах шерстяные носки с матерчатой подошвой. К тому же Шакрула в своей деревенской одежде рядом с одетыми по-европейски Силованом и Саломе привлекал внимание прохожих. Надо было срочно Шакрулу переодеть, поэтому все отправились в магазин. Продавец предложил для мальчика костюм из светлой ткани с брючками до колен.

— Прекрасный костюм, не так ли, Шакрула? — спросил Силован. Но мальчик молчал.

— Может быть, тебе нравится другой? — поинтересовалась Саломе. — Выбери сам, что тебе по душе.

Но Шакруле ничего не нравилось.

— Может быть, ты не хочешь расстаться со своим платьем, сынок? — заботливо спросила Саломе.

— Нет, отчего ж, — ответил Шакрула и застенчиво добавил: — Я хочу такое, как у дяди Силована, хочу быть как он.

Шакрулу отвели к портному, заказали ему костюм из светлой ткани, даже соломенную шляпу купили такую же, как носил Силован, и парикмахер сделал ему такую же стрижку.

Шакрула не мог дожидаться нового костюма, а когда через два дня он уже был готов, сразу же переделся, долго вертелся перед зеркалом.

Настала пора уезжать из Исфагана. Мысль о том, что ему предстоит уехать далеко от Ферейдана, приводила Шакрулу в уныние. Из головы не шли родители, маленькая Лейла, без которой он не представлял себе жизни. Его уже не прельщала поездка в автомобиле. Ослик, на котором он ежедневно отвозил в поле обед родителям, казался во сто крат милей и желанней. Но мальчик сумел побороть в себе тоску

по дому, по близким, не изменил решения поехать в Грузию учиться, стать образованным человеком и вернуться в Ферейдан, чтобы хоть чем-нибудь помочь своим сородичам.

В Тегеране Силован занимал большую, прекрасную, оборудованную квартиру. Одну из комнат отвели Шакруле. Все в этой квартире приводило мальчика в восторг: горячая вода и голубой, как небо, кафель в ванной, полированная мебель, в которой все отражалось, как в зеркале, легкие, как ветер, занавеси на широких окнах и белоснежное белье на постели. Вечерами он представлял себе родной дом в Ферейдане: родители беседуют, сидя у мангала, протянув к огню озябшие ноги, а на дворе шумит, рассказывая о чем-то, ветер, он врывается в щели плохонького дома, бьется в уши, и мать с отцом, умолкающая, прислушиваются к егоговору, надеясь, что он расскажет им о Шакруле.

У Силована было много книг, но Шакрула не умел читать и только с жадностью рассматривал картинки. Освободившись от хозяйских дел, Саломе подсаживалась к мальчику и принималась терпеливо рассказывать ему содержание книги и картинок. Он слушал зачарованный, новый, незнакомый мир раскрывался перед его глазами. Ему не терпелось научиться читать, чтобы самому прочесть все эти книги.

— Так и будет, — обещал Силован, — обязательно!

Силован и Саломе готовились к отъезду на родину. Однако получить разрешение на выезд из Ирана оказалось не так-то просто.

— Ребенка вернем родителям, — категорически заявили Силовану в полицейском участке.

— Но родители мальчика передали его мне на воспитание, — возразил Силован.

— Чтобы в Иран он вернулся большевиком?! Не бывать этому! — зло отрезал полицейский. — Где письменная доверенность его родителей?

— Да они ни читать, ни писать не умеют! А то, что доверили мне ребенка, это же можно проверить, — настаивал на своем Силован.

— И проверим, — заключил полицейский. — А пока заявляем вам: мальчика из Тегерана не выпустим, — и он дал подписать Силовану документ.

Силован говорил с полицейским по-персидски, но Шакрула догадывался, что речь идет о нем, и страшно волновался.

Из полицейского участка они оба вышли расстроенные — до отъезда оставалось три дня, а проверка могла затянуться бог весть сколько. Что делать? И Силован решил обратиться за помощью в советскую миссию.

В миссии Силовану обещали помочь. И действительно, на следующий день он уже получил разрешение иранских властей на выезд в Грузию мальчика Шакрулы Папиашвили.

Без всяких приключений они достигли границы Советского Союза. Проверив документы, пограничники открыли ворота на мосту через Аракс, и Шакрула ступил на советскую землю.

Достигнув Баку, они сели в поезд.

В поезде Шакрула ехал впервые. Он жадно глядел в окно. Бежали прочь испуганные деревья, телеграфные столбы, поля, дома.

— В «Большой Грузии» есть такие горы, как в Ферейдане? — спросил Шакрула Силована.

— Конечно. Грузия — гористая страна.

— А горы высокие?

— Как гора Цверисмта в Ферейдане. Они покрыты густыми лесами и такие красивые — глаз не оторвешь!

— На горах деревья? А наша гора Цверисмта не такая! Откуда на горе деревья? Ее поливают?

Силован обнял мальчика:

— Потерпи, увидишь сам.

На станциях поезд стоял подолгу, и это не нравилось Шакруле, ему не терпелось оказаться в Грузии. Как только поезд трогался, он снова подходил к окну, надеясь увидеть гору Цверисмта и определить, в какой стороне находился Ферейдан. Но гора, конечно, не показывалась, и мальчик возвращался в купе, снова и снова расспрашивал о Грузии то Силована, то Саломе.

Настал, наконец, долгожданный час — поезд приближался к Тбилиси. Прильнув, к окну, Шакрула вглядывался в незнакомые пейзажи. Потянулись пригороды. И вот она — Мтацминда! Дядя Силован так красноречиво рассказывал о ней, что он сразу узнал ее.

Паровоз, глубоко вздохнув на прощанье, остановился. К вагонам хлынули встречающие, носильщики, зазвучали приветственные возгласы.

Указывая Силовану на столпившихся на платформе людей, Шакрула спросил:

— Это все грузины?

— Большинство.

— Я смогу заговорить с ними по-нашему?

— Сможешь.

— Ни бахтиар, ни курд не посмеют меня обидеть? И хан?

— Не посмеют, мой мальчик. Это — советская земля, люди всех национальностей здесь равны. А ханов и вовсе нет. Их давно отсюда прогнали.

— Неужели это все правда, дядя Силован? — не верилось Шакруле.

— Правда, мой мальчик, правда. И скоро ты сам в этом убедишься.

Они поселились в районе Солولاки. На следующий день Силован повел Шакрулу знакомиться с Тбилиси. Ходили пешком, ездили в открытом трамвае, который в те годы считался наилучшим видом транспорта.

Шакрула с любопытством осматривал город, с радостью прислушиваясь к грузинской речи, огорчался, однако, что не все понимает.

— Они так быстро говорят, — жаловался он Силовану.

— И ты скоро будешь говорить так же, — уверял Силован.

Они поднялись на Мтацминда, осмотрели могилы великих грузинских писателей, общественных деятелей, долго стояли у памятника Илье Чавчавадзе.

Шакруле вспомнилось заросшее дикой травой и колючим кустарником кладбище ферейданских грузин.

В Ботаническом саду Шакрула бегал от одного диковинного дерева к другому, словно зачарованный долго стоял у водопада. Он набрал полные карманы листьев и шишек.

«Лейле отошло», — решил он про себя.

Побывали они и во Мцхета. С благоговением вошли в Светицховели. Следуя примеру Силована, Шакрула снял шапку. С почтением стояли они у могилы Ираклия Второго. Шакруле о многом хотелось расспросить Силована, но он не смел нарушить торжественного безмолвия храма. К тому же мальчик знал, что дядя Силован потом сам обо всем ему расскажет.

Показали Шакруле и сказочный сад знаменитого садовода Мамулашвили. Обрадованный приходом ферейданца, Михаил Мамулашвили подарил ему букет дивных роз.

Силован знакомил Шакрулу с достопримечательностями Тбилиси и его окрестностей, а Саломе ежедневно учила писать и читать по учебнику Гогешашвили «Деда эна» («Родная речь»). Учился Шакрула прилежно и все мечтал о том дне, когда сможет написать письмо родителям и Лейле.

— Но как они прочтут мое письмо? — огорчился Шакрула.

— Неужели во всей деревне никто не умеет читать?! — не верилось Саломе.

Прошло несколько месяцев. Наступил май. Дома не сиделось. В окно Шакрула видел, как ребята, едва вернувшись из школы, выбегали во двор и принимались играть в мяч. Ему хотелось выйти к ним, поиграть с ними вместе, но он стеснялся их, боялся, что ребята начнут смеяться над его грузинской речью. Но однажды, когда соседский мальчик Сосо позвал его, он не выдержал и выбежал во двор.

— Становись вратарем, — предложил ему Сосо.

Шакрула смутился, ему никогда не приходилось играть в такую игру, и он не знал, что такое «вратарь».

— Я не умею... — признался он наконец.

Стоявшие рядом мальчишки рассмеялись. Ферейданец вспыхнул, бросил сердито «не хочу!» и убежал домой. После этого случая он не выходил во двор, сторонился ребят. Сколько ни старался Сосо заговорить с ним, ничего не получалось.

Однажды младшая сестренка Сосо, увидев из окна возвращавшегося домой Шакрулу, позвала брата:

— Посмотри, Сосо, Шакрула такой грустный, подари ему мою куклу.

— Куклы — не мальчишечье дело, я подарю ему мячик.

— У него, наверное, есть сестренка, пусть отошлет ей куклу.

Но Сосо не слушал Дали, с пестрым резиновым мячиком в руках он уже сбежал по лестнице.

Наконец они подружались — Шакрула и Сосо. А вскоре ферейданец подружился и с остальными ребятами. Они относились к нему заботливо и с осторожностью, боясь оскорбить нечаянным словом, и все старались сделать ему приятно, радовать чем-нибудь.

А Шакруле, счастливому от того, что у него появилось так много друзей, хотелось всё время быть с ними, и он совсем охладел к занятиям.

Как-то Силован, вернувшись с работы, принес Шакруле школьную сумку. Несказанно обрадовавшись подарку, Шакрула рассматривал сумку со всех сторон, без конца открывал и закрывал. Потом достал из ящичка письменного стола свои «сокровища» — листья, камешки, шишки, разноцветные стеклышки и стал запихивать все это в сумку.

— Постой, Шакрула, — остановил его Силован, — в сумку полагается класть тетрадки и книги. Тебе скоро в школу.

Шакрула словно остолбенел — в школу?! Ему вспомнился мактаб¹, который он посещал месяц и откуда, не выдержав, сбежал.

И Силовану вспомнился мактаб, он побывал в нем, когда гостил в Ферейдане. Душная, полутемная, с низким потолком комната. На грязных, рваных циновках сидят, поджав по-турецки ноги, плохо одетые, забитые шестилетние мальши. Уставившись в замусоленные, неряшливо исписанные листки, они, негромко напевая хором, долбят Коран. А перед ними, в той же позе, с Кораном на коленях — ахунд². Он весь поглощен чтением. Но это только кажется. Злое, настороженное ухо ловит малейший шорох, малейшую фальшь в мелодии или тексте. Мгновенье — длинная палка ахунда больно бьет ученика по голове, песнопение Корана начинается заново.

...Обняв мальчика за плечи, Силован привлек его к себе.

— Никто не собирается тебя принуждать: не понравится в школе, ходить не будешь, но один раз мы пойдем туда вместе, чтобы ты посмотрел, как здесь у нас учатся дети.

Саломе, готовя Шакрулу к школе, ежедневно читала ему книжки. Он слушал с интересом, но долго усидеть на одном месте не мог. Его влекли к себе двор, ребята, веселье игры. Домой он прибегал, чтобы поесть, и тут же исчезал вновь.

— Сначала позанимаемся, а потом беги к ребятам, — уговаривала его каждое утро Саломе.

— Вечером, тетя Саломе, — умолял Шакрула, — честное слово!

А вечером, набегавшись за день, он, взяв в руки книгу, вскоре засыпал над ней.

— Желание учиться должно возникнуть у него самого, иначе ничего не получится, — успокаивал жену Силован. — Он должен понять, что необходимо стать образованным человеком. Не огорчайся, потерпи. Такое желание у Шакрулы непременно возникнет, ведь он еще ребенок, пусть насладится

¹ Начальная сельская школа.

² Учитель.

тем, чего не видел и не знал в детстве, — обыкновенной мальчишеской жизнью и развлечениями.

Силован стал чаще брать Шакрулу в город, водил в кино. Фильмы в ту пору были еще немые. Не в силах прочесть титры, Шакрула не понимал содержания картины и приставал к Силовану с расспросами.

Однажды Силован повел мальчика в Публичную библиотеку. Шакрула долго не мог отвести взгляда от тонкой грузинской резьбы на массивных, мореного дуба дверях, от искусственных фресок, украшающих вестибюль, потом несмело стал подниматься по беломраморной лестнице. Растерянно стоял он в дверях читального зала, где в полной тишине молодые и старые люди сидели над книгами. Что в этих книгах, почему их читают с таким интересом?.. Он хотел было спросить Силована, но не посмел произнести ни слова.

Вернувшись домой, он взял свой учебник «Деда эна», пошел к Саломе и попросил почитать ему вслух.

Последние недели лета Шакрула занимался так усердно, что, когда к началу учебного года Силован повел мальчика в школу, его посадили сразу во второй класс.

Соседом Шакрулы по парте оказался Сосо.

— Мы соседи по дому, — говорил Сосо товарищам, — и мне полагается сидеть вместе с Шакрулой и в школе.

Ребята в школе относились к ферейданцу с теплотой. Они приняли его в свой коллектив и старались сделать все, чтобы он не чувствовал среди них себя чужим и одиноким. И Шакрула полюбил и школу, и ребят. Он чувствовал себя с ними легко и просто, только по-прежнему стеснялся своего ферейданского диалекта. Он уже почти чисто говорил по-грузински; но когда начинал рассказывать что-то с увлечением, о своей деревне, например, нет-нет да и вворачивал ферейданское словечко.

Шли годы. Мужал Шакрула. Уже ничто не отличало его от грузинских юношей. Дезушки заглядывались на стройного, красивого ферейданца, а он по-прежнему думал о своей Лейле: какой она стала, помнит ли его, с кем дружит?

Шакрула регулярно писал родителям и Лейле, хотя ни разу не получал от них ответа. То ли письма не доходили до того затерянного края, то ли некому было их прочесть и написать ему ответ... Юноша мечтал о том дне, когда он вернется в Ферейдан и во всех его пятнадцати селах откроет школы. Он не сомневался, что ему помогут в этом Сосо и другие его школьные товарищи, обеспокоенные судьбой ферейданских братьев.

Шакрула часто рассказывал о Ферейдане своим школьным друзьям. Они уже знали названия всех грузинских сел в Ферейдане. От дяди Силована Шакрула узнал, что в Ферейдане живет около десяти тысяч грузин.

Оставаясь наедине, Силован и Саломе все чаще обсуждали будущее юноши, оно беспокоило их. Что станет с Шакрулой, когда он вернется в Ферейдан? А они не сомневались, что он, получив образование, непременно вернется туда, так велика была его мечта помочь землякам.

Силован, обработав собранные в Ферейдане материалы, решил выступить с докладом о судьбе ферейданских грузин перед советской общественностью. Его поддержали в официальных кругах. Доклад должен был состояться в концертном зале театра имени Руставели.

— Зачем такой большой зал? — беспокоился Силован. — Найдется ли столько желающих послушать мой доклад?

— Еще мест не хватит для всех, — возражала мужу Саломе.

Доклад назначили на 23 июня 1930 г. Саломе оказалась права — зал был переполнен.

Силована встретили аплодисментами. Как только он открыл тетрадь с записями, зал стих. В напряженной тишине голос Силована звучал все громче и увереннее. Он рассказал о завоевательских походах на Грузию шаха Аббаса и других персидских поработителей, о том, как они угоняли в рабство десятки тысяч грузин, об их горькой судьбе на чужбине, о том, как они, оторванные от родины, утратили свой язык, веру, национальные обычаи, даже не знают своих настоящих фамилий.

— Если Грузия не протянет нашим ферейданским братьям руку помощи, то им грозит вырождение. В Ферейдане мне встретился представитель наркомата просвещения, приехавший специально для изучения и описания положения ферейданских грузин. Он привез с собой целый ящик книг на грузинском языке. Это очень хорошо. Но вся беда в том, что ферейданцам они пока что не нужны, так как никто из них и читать-то не умеет...

А теперь разрешите мне познакомить вас с ферейданским подростком, который учится в тбилисской школе.

Саломе легонько подтолкнула на сцену смущенного Шакрулу. Его встретили громкими аплодисментами.

— Дорогие друзья, — сказал Силован, когда зал стих, — Шакрула Папиашвили, грузин из Ферейдана, хочет прочесть вам стихотворение.

Остановившись посреди сцены, Шакрула, запинаясь, произнес:

— Стихотворение Дуту Мепрели «Маленький грузин», — и, окончательно смутившись, вдруг умолк.

— Смелей, Шакрула, смелей! — раздались голоса. — Все мы твои братья, не бойся!

Улыбнувшись публике и почувствовав себя вдруг легко и спокойно, юноша стал читать:

Я — маленький грузин,
Дитя кавказских гор...
Чем на чужбине в неге жить,
Пусть здесь мой гаснет взор...

Присутствующие в зале плакали, долго аплодировали и не отпускали со сцены Шакрулу.

Чем старше становился Шакрула, тем меньше времени проводил он в играх, тем больше внимания уделял учебе, самообразованию, не пропуская ни одного интересного спектак-

ля, фильма, выставки и не переставал грустить, думая об убогой жизни своих ферейданских земляков.

Он очень увлекался чтением исторических книг, его пленяли образы Давида Строителя, Дмитрия Самопожертвователя, Цотне Дадзиани, Ираклия II...

И вот настал день, когда Шакрула закончил семилетку. Стояла нестерпимая июльская жара. Силован, получив отпуск, решил забрать семью в Рачу. Узнав, что ему предстоит поездка в горы, в деревню, Шакрула страшно обрадовался и стал уговаривать Сосо и Дали поехать вместе с ними. Родители согласились отпустить их, и ребята до глубокого вечера строили планы своего летнего отдыха в горах. Но когда до отъезда осталось всего несколько дней, Шакрула внезапно затосковал. Отец, мать, сестра, Лейла снились теперь ему каждую ночь.

Он решил отказаться от поездки в Рачу и просить Силована и Саломе отправить его на каникулы в Ферейдан.

Три недели потребовалось Силовану, чтобы оформить документы, необходимые Шакруле для поездки в Иран. Наконец все было сделано, куплен билет на поезд.

Проводить Шакрулу пришли все школьные товарищи.

— Тебе не жалко уезжать от нас? — спросил Сосо.

Шакрула вместо ответа посмотрел на Дали. Она смущенно покраснела. Тогда он взял девочку за руку, отвел ее в сторону:

— Скажи всем... всем... я обязательно вернусь! — Ему почему-то хотелось, чтобы в первую очередь этому поверила Дали.

Товарищи принесли Шакруле подарки и грузинские книги для ферейданцев.

— Не забудь — первого сентября начало занятий!

— Мы ждем тебя, Шакрула!

— Передай наш горячий привет ферейданским ребятам!

Шакрула проснулся от наступившей тишины. Поезд стоял на границе. Иранские пограничники производили досмотр. Их внимание привлекли книги Шакрулы. Пристально посмотрев на юношу, пожилой пограничник строго сказал по-русски:

— Ввозить в Иран книги запрещено.

— Но это же обыкновенные учебники и художественная литература, — пытался объяснить Шакрула.

— Ирану они не нужны, своих достаточно.

— Я везу их для моей семьи...

Но пограничник даже не слушал объяснений Шакрулы. Собрав все книги, он отложил их в сторону и равнодушно заключил:

— Книги будут просмотрены. Если начальник разрешит, тебе их вернут.

Сердце Шакрулы сжалось. Как же он приедет в Ферейдан с пустыми руками?! Он так мечтал о том, как будет вслух читать книги своим близким и односельчанам, а они, затаив дыхание, будут слушать и слушать...

Шакрула понуро сидел на опустевшем своем чемодане. Слезы обиды душили его, кулаки невольно сжимались от гнева. Он не помнил, сколько времени просидел так. Неожиданно его окликнули по-грузински:

— Сосед! Шакрула!

Шакрула вздрогнул. Перед ним стоял солдат-пограничник. — Возьми, — сказал он и протянул Шакруле стопку книг.

Забыв обо всем на свете, обрадованный юноша выхватил из рук солдата свои книги и прижал их к груди.

Сейчас он с благодарностью смотрел на своего недавнего врага. Лицо его даже показалось знакомым. Конечно же, когда-то он видел этого грузина с добрыми и грустными глазами.

— Ты наш? Откуда? Из какой деревни?

— Из Марткопи, — улыбаясь, говорил сосед. — Мустафа Давиташвили мое имя.

— Выходит, мы соседи? — обрадовался Шакрула. — А книги тебе отдал начальник?

С опаской озираясь по сторонам, солдат объяснил почти шепотом:

— Нет. Начальник приказал мне их сжечь, а сам куда-то ушел. Я улучил момент, когда никто не видел, и сумел твои книги вынести.

Торопливо засовывая книги в чемодан, Шакрула расспрашивал:

— Что в Марткопи? Как живут наши ферейданцы?

— Я и сам давно там не был, — с тоской поведал солдат. — Никак не удается освободиться. Иранские солдаты как-то умудряются, а вот нам труднее. Не отпускают, а с начальством не очень-то поспоришь. Э, да что говорить! — Мустафа безнадежно махнул рукой и поспешил к своему посту.

Шакрула смотрел ему вслед.

«Как, однако же, крепко единство изгнанников, — думал он, — если ради меня этот солдат рисковал жизнью».

Через несколько дней Шакрула добрался до своей деревни.

Стоял тихий, прохладный полдень. Шакрула шел, жадно всматриваясь в окружающее. Ничего здесь не изменилось за эти годы. Так же, как прежде, играли перед домами дети, копошились в огородах старики и женщины. Признав в юноше приезжего, они провожали его любопытными взглядами. Никого из своих сверстников Шакрула не встретил, он знал, что все они в это время дня работают на полях. А так хотелось увидеть кого-нибудь из товарищей детства!

Шакрула прибавил шаг, чтобы быстрее добраться до родительского дома.

Вот деревенский родник. Здесь, как всегда, толпятся девушки.

Когда Шакрула прошел мимо, девушки насторожились, приумолкли: кто же этот юноша, так не похожий на местных парней, и куда он спешит со своим чемоданом в руке? Любопытство разгоралось, но все молчали, не смея заговорить с:

незнакомцем. Внезапно одна из девушек отделилась от подруги и быстрыми шагами направилась за Шакрулой.

— Эй, ты куда? — окликнули ее подруги. — Твоя очередь брать воду.

Но девушка даже не обернулась. Обогнав Шакрулу, она побежала вперед.

— Что с ней? — воскликнула одна из девушек.

— Влюбилась, — засмеялась другая, — хочет обогнать его и встретиться лицом к лицу.

А девушка, не останавливаясь, все бежала и бежала. И когда, запыхавшись, добежала наконец до дома родителей Шакрулы, только и смогла выкрикнуть:

— Шакрула идет!

И стар и мал вышли навстречу дорогому гостю. Дрожа от счастья, мать прижала к груди повзрослевшего, незнамого сына. Позабыв обо всем на свете, стояли они, и казалось, никакая сила не сможет отделить их друга от друга. А девушка, прибежавшая со счастливой вестью, молча наблюдала за ними, и слезы катились по ее разгоревшимся щекам.

С волнением смотрели все на мать, на сына. Тишина была такая, что слышно было взволнованное дыхание людей.

Но вот Шакрула оторвался от матери, огляделся вокруг и, увидев одиноко стоящую девушку, кинулся к ней.

— Лейла! Как ты выросла! — И без стеснения прижал к груди подругу детства...

На следующий день Шакрула проснулся поздно. Все давно ушли на работу, и только мать, стараясь ступать бесшумно, хлопотала у очага.

Шакрула с грустью смотрел на узловатые, натруженные руки матери, на ее сгорбившуюся за годы его отсутствия спину, рано поседевшую голову. Он с такой же грустью смотрел на покосившиеся стены, низкий закопченный потолок. Вся обстановка родного дома сейчас казалась ему жалкой, убогой. Вспомнилась комната в Тбилиси. Большое зеркальное окно, как парус надутая кружевная занавеска. И тетя Саломе в своем ярком халате. Обида и боль за мать сжали сердце.

Когда он днем собрался в деревню и стал надевать свой новый костюм, мать смотрела на него с восхищением и нескрываемой ревностью. Ей было жалко уступить его кому-нибудь хоть на одну минуту. Ведь через месяц он вновь уедет. Бог знает на сколько...

Односельчане встретили Шакрулу радушно, каждому хотелось поподробнее расспросить, разузнать о жизни в «Большой Грузии». Шакрула охотно рассказывал. Все в его рассказах было до того необычно и ново, что односельчане иногда недоверчиво переглядывались, не сочиняет ли парень. Они готовы были бы слушать его без конца, но летний день земледельца насыщен трудом до отказа.

Шакрула обошел почти всю деревню, намеренно оставляя напоследок ту часть, где жила Лейла.

Солнце уже клонилось к закату, когда он подошел к ее дому. Еще издали он заметил сидящих у дома женщин и

девушек. Занимаясь, как обычно, рукодельем, они оживленно беседовали. В лучах заходящего солнца ярко сверкали и переливались их ожерелья из старинных монет, янтаря, разноцветного стекла — украшения, так любимые ферейданками.

Поискав глазами, Шакрула легко нашел среди девушек свою Лейлу. Она выделялась среди всех своей красотой. Не отрываясь от рукоделья, она то и дело бросала взгляд на дорогу, ведущую к его дому. И юноша понял — она ждала его.

Нет, на виду у всех он не решится подойти к подруге своего детства. А как он стремился к ней! Сейчас лучше уйти незамеченным, дожидаться более удобной минуты, когда рядом не будет этих женщин, следящих за каждым движением.

Но уйти ему не удалось. Его увидели.

Шакрула почтительно поздоровался с женщинами и хотел продолжить свой путь, но одна из женщин сказала:

— Присядь, сынок, расскажи и нам о «Большой Грузии». Нам тоже хочется знать, как живут наши братья и сестры. Говорят, ты рассказываешь о тамошней жизни чудеса.

Постепенно завязалась беседа. Женщин интересовала каждая мелочь о жизни в стране, которая была их родиной.

— А та госпожа, которая была у нас, помнит нас или забыла?

— Тетя Саломе? — оживился Шакрула. — Конечно же, она вас помнит. Как она могла вас забыть?! Моя тетя Саломе замечательная женщина!

— А в «Большой Грузии» все женщины такие образованные, как госпожа Саломе?

— В Грузии редко встретишь неграмотного человека.

— Разве мы бы не учились, если бы была у нас возможность, — вздохнула мать Лейлы. — И моя дочка могла бы выучиться на доктора.

— Это правда, что в «Большой Грузии» нет ханов? — не иссякали вопросы. — А это правда, что там учат и лечат бесплатно? И управляет всем народ?

Шакрула авторитетно все подтвердил и с особой гордостью пояснил:

— Народом управляют избранники народа.

Женщины слушали Шакрулу затаив дыхание. У некоторых в глазах стояли слезы — их тяжкая доля казалась им сейчас еще тяжелее и безнадежнее.

Вечерело. Шакрула заторопился домой...

Не теряя времени, Шакрула приступил к обучению грамоте своих односельчан. Много ли мог он успеть, если в его распоряжении был всего один месяц! И все же он решил: хоть чему-нибудь да научит пусть небольшую группу ребят.

Но дело пошло не так, как он предполагал. С рассвета до позднего вечера дети рядом со взрослыми трудились в поле, на учебу не оставалось ни времени, ни сил.

И все же по вечерам ребята собирались у дома Шакрулы и как зачарованные слушали чтение стихов и рассказов на родном грузинском языке. Самыми прилежными были Лейла и его сестра Тамрико. Обе девочки так страстно мечтали

выучиться грамоте, что каждую свободную минуту отдавали учебе и за короткий срок научились читать по складам и писать некоторые слова.

Время бежало. Приближался час отъезда. И хотя Шакруле было грустно расставаться с родным домом и близкими, он с нетерпением ждал того дня, когда снова окажется в Тбилиси и встретится со своими воспитателями и друзьями. Он представлял себе, как ребята окружают его, станут расспрашивать о том, как он провел время в Ферейдане, о его ферейданских друзьях. Особенно волновала его мысль, как он встретится с Дали. Сама ли она прибежит к нему повидаться вместе с Сосо или придется идти к ней домой...

Лейла и Дали... Эти две девушки занимали прочное место в мыслях Шакрулы. Иногда ему хотелось поведать подруге детства о своей новой подруге. Но, боясь огорчить Лейлу, он при ней ни разу даже не упомянул имени Дали.

Рассказы Шакрулы о Советской власти, частые беседы с односельчанами стали известны хану деревни. Он вызвал к себе юношу и строго предупредил, что, если он будет продолжать советскую агитацию, его передадут в руки полиции.

Наступил день отъезда. С трудом сдерживая слезы, мать собирала сына в дорогу. Готовила и укладывала в дорожный мешок еду.

Но где было взять денег на проезд до границы и железнодорожный билет? И решено было дать Шакруле трех овец из их небольшого хозяйства. Он поедет вместе с бахтияром Амрезом, который погонит в Исфаган отару и продаст там овец.

Прощаясь с сыном, отец наказал:

— Выучись на врача, сынок, если хочешь помочь своему народу. Сколько наших односельчан страдает от болезней и умирает раньше времени, а во всем Ферейдане нет ни одного врача.

Шакрула с жалостью смотрел на отца, на его пожелтевшее от болезни лицо и мысленно клялся выполнить этот наказ, вернуться в Ферейдан врачом и в первую очередь вылечить отца.

Продав в Исфагане овец, Шакрула доехал до Тегерана и там сразу же пошел в советскую миссию. Как он мечтал об этой минуте! Казалось, стоит лишь переступить порог миссии, как он окажется на советской земле.

Но его ожидал тяжелый удар. В миссии ему сообщили, что иранские власти запретили Шакруле Папиашвили выезд из Ирана в Советскую Грузию.

— К сожалению, мы ничем не можем помочь, — сказали ему там.

Пораженный таким неожиданным оборотом дела, юноша не мог вымолвить ни слова. «Что же делать? — лихорадочно соображал он. — Вернуться в Ферейдан и навсегда проститься с Тбилиси, с мечтой стать образованным человеком и помочь землякам?.. Что подумают о нем дядя Силован, тетя Саломе, Дали, Сосо?.. Нет, нет!»

Он не помнил, как очутился на какой-то окраинной улице с ветхими, покосившимися от времени домишками. Тощий пес, свирепо лая, преградил ему путь. Юноша свернул в узкой переулочек и присел на большой плоский камень. Усталость и голод дали о себе знать. Он развязал свой мешок, отломил кусок чурека. Вспомнилась мать, и показалось, что чурек еще теплый от ее рук. Тяжелая слеза покатилась по щеке. Захотелось пить. Он достал яблоки, их принесла ему на дорогу Лейла. Это же было только вчера, а казалось, прошла вечность.

В мешке лежало что-то твердое. Шакрула вытащил аккуратно запакованный сверток и вспомнил — это же подарок, который послала мать тому солдату-пограничнику, Мустафе Давиташвили. Материнская благодарность за помощь сыну. За спасение книг.

Луч надежды прорвался сквозь безысходное отчаяние. Мустафа Давиташвили! Вот кто поможет ему!

В тот же день он уже был в Джульфу.

Но все пошло не так гладко, как он себе представлял. Мустафа не появлялся. Юноша так долго топтался у пограничной заставы, надеясь, что Мустафа вот-вот выйдет, что привлечет к себе внимание пограничников.

— Что тебе здесь надо? — сурово спросил сухопарый иранец. Ухватив Шакрулу за ворот, он повел его к начальнику.

Сердце у Шакрулы дрогнуло, когда он увидел того самого офицера, который отобрал у него книги и грозился наказать.

— Что ты здесь крутишься, парень? — зло спросил офицер.

— Я привез из Ферейдана вашему солдату Мустафе Давиташвили посылку, — стараясь скрыть страх, ответил Шакрула.

— Знаем мы эти посылки! — угрожающе проговорил офицер. — Давай ее сюда!

Юноша не успел вытащить из мешка сверток, как, запыхавшись, вбежал Мустафа, ему уже успели сообщить, что начальник задержал парня из его деревни.

— Знаешь этого? — недоверчиво спросил офицер, указывая Мустафе на Шакрулу.

— Как же не знать, мой земляк! — не раздумывая ответил Мустафа. — Говорят, он привез мне посылку.

— Ладно, идите, — недовольно проворчал офицер и, глядя с прозным видом на Шакрулу, добавил: — Чтоб духу твоего у заставы не было!

Земляки отошли подальше, присели на бревно. Шакрула передал Мустафе посылку, привет от родных, рассказал о деревне. Беседа текла спокойно, как вдруг Шакрула умолк и потом произнес глухо:

— Погибаю я, дядя Мустафа, вся надежда на вас.

— Что такое? — встревожился Мустафа. — Что произошло с тобой, парень?

И Шакрула изложил ему все трудности, которые возникли так внезапно на его обратном пути в Тбилиси.

Мустафа молчал долго, и молчание это становилось Шакрулы невыносимым. Сомнение зародилось и росло может ли ему Мустафа...

— Скажи что-нибудь, а то у меня разорвется сердце, взмолился юноша.

Мустафа словно очнулся от трудного раздумья:

— Темноты не боишься?

— Я же сказал, ничего не испугаюсь!

— Плавать умеешь?

— В Тбилиси несколько раз переплывал Куру.

— Слух у тебя хороший?

— Отличный! — заверил Шакрула.

— Я помогу тебе перейти, вернее переползти границу, но имей в виду — это очень трудно. Ты должен будешь ползти, ползти очень долго. Маяком тебе будет слабый огонек в домишке по ту сторону Аракса. Бывали случаи, людям удавалось этим путем удрать отсюда. Но помни, наши пограничники не дремлют, у них зоркий глаз. Заметят, поднимут тревогу, и тогда тебе не одобрывать.

Пока они обсуждали план побега, начальник погранзаставы тоже не дремал. Напрягая память, старался припомнить, где же он видел этого паренька. Он определенно был ему знаком. И вдруг вспомнил: да это же тот самый, у которого он с месяц назад отобрал советские книги!

Он немедленно вызвал двух пограничников и приказал им не спускать с Шакрулы глаз.

А Шакрула, выслушав наставления Мустафы и усвоив, откуда ему начинать свой трудный и опасный путь, направился к Араксу. Но не успел он сделать и двух шагов, как его оштрафовали:

— Стой!

Шакрула словно прирос к земле. К нему подбежали пограничники.

— Ну, пошли! — грубо приказал один из них.

И Шакрула понял — путь отрезан. Понуро опустив голову, он шел впереди пограничников, слушая, как спокойно они переговаривались, им не было никакого дела до его беды, до его разбитых надежд.

— Ну-ка, выкладывай все начистоту! — неожиданно приказал офицер по-грузински.

Грузинская речь подбодрила Шакрулу.

— Вы ферейданский грузин? — с надеждой спросил он.

— Ферейданец — это верно, но не грузин, а бахтиар, — хмуро ответил офицер. — Теперь говори, зачем пришел из Ферейдана на погранзаставу?! И не лытайся хитрить! Я хорошо помню и тебя, и твои большевистские книги, которые ты пытался протащить к нам из Советской Грузии. — Зло усмехнувшись, он заключил: — Книги твои мы сожгли, а границу, пока здесь начальником я, и птичка не перелетит!

Шакрула молчал. И это молчание распаяло гнев офицера:

— Что, нечего ответить?! И книги не пытался перевезти, и границу перейти?! Ни в чем не виноват?! Сейчас я арестую

тебя, а суд во всем разберется. — Вытирая носовым платком взмокший от напряжения лоб, он добавил: — И родственничка твоего накажу за пособничество.

Услышав, что Мустафе из-за него прозит опасность, Шакрула взволнованно заговорил:

— Я подарок привез ему от матери. Он ни в чем не виноват, поверьте!

Побагровев от злости, офицер прикрикнул:

— Молчать, щенок! — и приказал солдату: — Под арест его! И вызвать сюда Мустафу!

Когда Мустафа явился, офицер набросился на него:

— Большевику помогаешь?! Отправлю тебя за ним следом, родственники и следов твоих не найдут!

— Зря подозреваете парня, господин начальник, — вступился за Шакрулу Мустафа. — Какой же он большевик, он еще мал, чтобы разбираться в политике.

— А советские книги? — не унимался офицер.

— Да то были сказки с картинками и стишки. Зря я их сжег, господин начальник.

За девять лет службы солдат Давиташвили ничем не прощтрафился, он считался опытным пограничником, и офицер, отчитав его как следует, отпустил без наказания.

Когда стемнело и офицер ушел, Мустафа угостил солдата, охранявшего Шакрулу, домашними сладостями из посылки, и тот пропустил его к юноше.

Шакрула был так подавлен случившимся, что даже не поднял головы, когда к нему вошел Мустафа.

— Не падай духом, парень! — сказал тот ободряюще. — В беде тебя не оставим. Пройдет день-другой, и будешь ты на свободе.

— Мне теперь все равно, — уныло ответил юноша. — Пропала моя учеба и все мои мечты. Эх, Мустафа, лучше б я вовсе не видел советской жизни, жил, как все мои сверстники в Ферейдане, ковырял бы от зари до зари землю, кланялся бы шаху. Теперь мне и жизнь не мила.

Мустафа успокаивал Шакрулу, хотя сам был вовсе не спокоен. Думы о том, как спасти юношу от суда и наказания, не оставляли его. И он решил посоветоваться со своими товарищами, солдатами-ферейданцами.

— Надо помочь парню! — в один голос решили они, и все вместе направились к начальнику.

Офицер сначала и слушать их не хотел. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что ему невыгодно обострять отношения с этими опытными и отважными пограничниками, за решительные действия которых он получил не одну благодарность от начальства.

— Только за то, что он крутился возле погранзаставы, парень достоин наказания, — хмуро произнес офицер, нехотя сдаваясь на просьбу солдат отпустить Шакрулу.

— Но не мог же он везти посылку для Мустафы обратно в Ферейдан, — возразил один из солдат.

Не желая показать своим подчиненным, что он поддался на их уговоры, офицер приказал:

— Три дня ареста! Пусть посидит и подумает обо всем как следует!

Такой исход дела означал для Шакрулы спасение.

Прошло три дня. Шакрула был, наконец, свободен. Но это, казалось, вовсе не радовало его. Настоящая свобода осталась там, за пограничной чертой, в Советской Грузии, и была теперь для него недостижимой. Он никак не мог смириться с мыслью о неизбежности возвращения в Ферейдан.

Прощаясь с юношей, солдаты-ферейданцы стали просить его рассказать о них родным и близким, с которыми они не виделись долгие годы. Побоявшись, что не запомнит всех поручений, Шакрула сказал:

— Запишите каждый свое поручение.

Солдаты с удивлением посмотрели на него:

— Смеешься, парень?! — нахмурился Мустафа.

Тут только Шакрула вспомнил, что никто из них не умеет ни писать, ни читать.

Приехав в Исфаган, Шакрула еще застал там своих одноклассников, с которыми совсем недавно выезжал из Марткопи. Всех поразило возвращение юноши. Выслушав его рассказ, ферейданцы стали утешать его:

— Не унывай, Шакрула, найдется для тебя достойное дело и в родном Ферейдане.

— Ты — грамотный человек, станем вместе заниматься торговлей. Увидишь, как разбогатеешь с моей помощью, — обнадежил его Амрез.

Шакрула отрицательно покачал головой.

— Разумеется, сейчас тебе не до этого, — не отставал Амрез, — но на досуге подумай. Что даст тебе крестьянская жизнь? Нищету — и только. А торговцу, если он умело ведет дела, никогда не приходится думать о куске хлеба, он всегда сумеет содержать свою семью.

Но Шакрула не слушал Амреза. Мысли его были заняты только одним — как он сейчас покажется в деревне? Из Тбилиси он стремился в Ферейдан, как вестник новой жизни, которую он своими глазами увидел в «Большой Грузии», испытал на себе. Он, ставший из безграмотного, забитого мальчишки грамотным, начитанным юношей, мечтал пробудить в своих земляках стремление к знаниям, учению, зародить в их душах новые, светлые надежды. Сейчас же ему предстоит спуститься с высоты, на которую он взбирался с таким трудом, с такими усилиями... И с завтрашнего дня вернуться к прежней жизни, вновь влачить беспросветное существование, как все парни его деревни. Прощай, милый сердцу Тбилиси, прощайте тетя Саломе и дядя Силован, школа, товарищи! Прощай, Дали! Никогда не увижу вас больше.

Безысходное горе давило сердце юноши. Слезы комком стояли в горле. А кому поведаешь о своем горе?! Кругом чужие люди, им нет дела до его разбитых надежд. А там, в Тбилиси, его ждут со дня на день, готовятся к встрече.

И, чтобы облегчить душу, Шакрула решил написать своим воспитателям письмо. Бумаге доверит он то, что не мог сейчас доверить ни одному человеку. Они получают его письмо и разделят с ним его горе.

Он писал, как горько сожалеет о том, что не послушался и уехал из Тбилиси в Ферейдан, не поверил их опасениям. А ведь они лучше него знали жизнь, предвидели всяческие осложнения и хотели уберечь его от них.

И пока Шакрула писал, разговаривая в письме со своими близкими, надежда и молодое упорство вновь окрепли в нем. Он написал, что твердо верит в то, что вернется. Он будет учиться с удастеренной энергией. Пусть пройдут годы, он намерстает упущенное. Он уверял, что разлука временна, что их любовь навсегда останется маяком в его жизни.

Шакрула бережно заклеил письмо. Он отвел душу. Теперь надо собраться с мыслями. Многое предстоит ему пережить, но самым страшным казалось ему сейчас возвращение в деревню.

Шакрула застал отца тяжело больным. За эти несколько дней его отсутствия отцу стало совсем худо, болезнь приковала его к постели. Он жаловался на сильные боли в сердце. Мать была в отчаянии, не зная, что предпринять и как спасти мужа, ведь в деревне не было ни одного врача.

К вечеру того же дня отцу стало совсем худо, и ночью он скончался.

Теперь об отъезде в Тбилиси Шакрула уже и мечтать не мог. Вся тяжесть заботы о семье легла на его еще не окрепшие плечи. Он должен был трудиться не покладая рук, чтобы прокормить семью.

Живя в Тбилиси, Шакрула совсем отвык от деревенской работы и уставал быстрее других. Мать и сестра замечали это и, не щадя своих сил, старались помочь ему.

Урожай в тот год собрали обильный, и его вполне хватило бы семье, если бы не пришлось большую часть отдать хану.

Часто Шакрула думал о том, что стало бы с его семьей, если бы он уехал в Тбилиси. Наверняка все погибли бы с голоду. И это сознание долга перед близкими помогало ему жить.

Время шло. Шакрула возмужал, над верхней губой у него появился пушок, движения стали увереннее, степеннее.

Угрюмая замкнутость Шакрулы не могла, однако, заглушить чувства в Лейле, и еще чаще, чем прежде, приходила она теперь к своей подруге Тамрико. С надеждой ловила она случайные взгляды печальных глаз юноши. Но он, казалось, не замечал ее, как не замечал он теперь своих любимых книг, привезенных из Тбилиси. Все это стало для него прошлым, которое как будто ушло навсегда.

Чтобы пробудить у Шакрулы интерес к жизни, любящая Лейла придумала хитрость. Однажды, улучив момент, она попросила:

1935
111033

— Шакрула, позанимайся с нами немного, иначе мы забудем все, чему ты нас учил.

— Зачем вам ученье? — пожал он в ответ плечами и вил с горечью: — Какую радость, какую пользу принесло оно мне?

— Как ты можешь так говорить? — вырвалось у Лейлы. — На всю деревню нет ни одного такого образованного парня, как ты. Мы завидуем тебе.

Слова девушки взволновали Шакрулу. Перед его мысленным взором возник дядя Силован. Сколько раз он твердил Шакруле, что человек должен думать не только о себе, сколько раз повторял ему мудрые слова великого Руставели: «Что ты спрятал — то пропало, что ты отдал — то твое». А что сделал для людей он?..

С того дня в доме Шакрулы словно посветлело. Каждый свободный час он отдавал занятиям с девушками. Он снова полюбил свои книги и уверовал в то, что своими знаниями может принести пользу людям. Однажды сосед, вернувшись из Исфагана, принес Шакруле письмо от их односельчанина Амреза.

«Дорогой Шакрула, — говорилось в письме, — обращаюсь к тебе как к парню толковому, честному и грамотному. Внезапно умер мой брат. Он вел все мои дела, потому что умел немного писать и читать. Без его помощи мне стало очень туго. Вся надежда теперь на тебя. Лучшего товарища мне не найти. Да и тебе станет жить легче. Торговля даст тебе значительно больше, чем ненасытная земля. Сколько ни трать на нее сил, семья живет в нужде».

Письмо Амреза заставило Шакрулу призадуматься. Никогда он не думал заниматься торговлей. Все его мысли были направлены на учебу. Он хотел было сразу отказаться от предложения Амреза, оно поначалу даже показалось ему обидным — ну какой из него торговец! — но, поразмыслив, решил, что это единственная возможность вывести семью из нужды, в которой она постоянно находилась. К тому же деньги, заработанные торговлей, возможно, дадут ему в конце концов возможность вырваться из Ферейдана, вернуться в Грузию, продолжить образование. Ожившая мечта захватила его с новой силой. Не откладывая в долгий ящик он написал Амрезу, что согласен на его предложение, и вскоре выехал в Исфаган.

Шакрула очень скоро втянулся в торговлю. Вместе с Амрезом разъезжал он теперь по всему Ирану. Он многое увидел, много интересного узнал в этих поездках. Узнал он и то, что грузины в свое время были переселены из Грузии не только в Ферейдан, но и в другие области Ирана, расположенные между городами Дамгана и Сабзевари в Абасаде, вдоль Тавризской дороги — в Хамаданском районе, в города Наджебади, Шираз, Исфаган и Тегеран. Большинство грузин, живших в этих районах и городах Ирана, лишь отдаленно помнили о своем происхождении и, ассимилировавшись с иранцами, полностью забыли грузинский и считали своим родным языком персидский.

«Если не изменятся обстоятельства, — думал Шахрула с грустью, — то же самое ожидает и ферейданцев».

Общаясь с переселенными в Иранрузинами, Шахрула с горечью замечал, как многочисленный и сильный народ подавляет более слабый, его самобытность, национальную культуру, язык. Он носил эту боль в себе, поделиться ею было не с кем. Единственные люди, которые могли понять его, это дядя Силован и тетя Саломе. И он решил написать им. Он долго носил письмо в кармане, не решаясь отослать его. Если письмо попадет в руки иранской полиции, его сочтут коммунистом, и тогда он погиб. Так и осталось это письмо неотосланным.

Лейла теперь так часто бывала в доме Шахрулы, что все считали их женихом и невестой. Близкие юноши и девушки мечтали о том дне, когда будет, наконец, отпразднована свадьба. Но Шахрула, занятый своими торговыми делами, не спешил.

И вот однажды, пробыв по делам торговли в Исфагане целый месяц, Шахрула, нагруженный подарками, возвратился домой. Каково же было его удивление, когда мать и сестра встретили его угрюмым молчанием.

— Что-нибудь случилось? — испугался он.

В ответ Тамрико разрыдалась и сквозь слезы с трудом проговорила:

— Лейлу выдают замуж. Как она ждала тебя, сколько пролила слез!

Шахрула словно окаменел. Весть поразила его.

— Не может же она состариться в ожидании, когда ты обратишь на нее внимание, — с укором произнесла мать. — Ни одна девушка не будет тебе такой хорошей женой, как Лейла.

— За кого она выходит? — с трудом спросил Шахрула.

— За бахтиара. Он уже принес свадебные подношения. Ее родители их приняли, а Лейла в страхе убежала и прячется у своей замужней сестры.

Шахрула ужаснулся. Мечтая о далеком, он терял близкое и самое дорогое.

— Тамрико, сестренка, — взмолился он, — найди Лейлу! Где б она ни была, найди и приведи сюда. Сейчас же!

Обрадованная Тамрико кинулась из дому.

С каким нетерпением ждал Шахрула возвращения сестры! Но Тамрико все не шла и не шла.

Сгустились сумерки. Шахрула стал терять надежду — неужели он опоздал? И теперь еще желаннее стала ему Лейла. Он уже совсем было отчаялся, когда увидел на дороге быстро приближавшиеся две женские фигурки.

Низко опустив голову, Лейла остановилась в дверях. Она была бледна, в глазах стояли слезы.

И впервые, не таясь окружающих, Шахрула с нежностью взял руки девушки в свои:

— Прости меня, Лейла, дорогая, я виноват перед тобой.

— Давно должен был сказать тебе... Останься в нашей семье, прошу тебя.



В ответ Лейла горько зарыдала и прижалась к Тамрико.

— Поздно, Шакрула, — с трудом проговорила она.

Отец уже принял свадебные подношения.

— Что он принял? — сурово спросил Шакрула.

— Деньги, рис, пшеницу, сахар, овец, — ответила за Лейлу Тамрико.

— Пусть вернет все это. Я дам за тебя ему вдвое больше. Как твой отец не пожалел тебя для бахтияра! — И добавил с решимостью: — Сейчас же иду к твоему отцу!

Мусиен, отец Лейлы, работал в поле, и Шакрула не откладывая направился туда.

Сколько раз в детстве вместе с Лейлой бегали они по этой дороге, и никогда не казалась она ему такой длинной! Шакрула шел, все ускоряя шаг, минута промедления могла стоить ему счастья всей жизни...

Завидев Шакрулу, Мусиен пошел ему навстречу. Родительское чутье подсказало ему, чем вызван приход молодого человека. Не показывая вида, что догадывается о причине, он как обычно доброжелательно поздоровался и попросил:

— Нет ли у тебя закурить, Шакрула, мой табак весь вышел?

Шакрула протянул Мусиену папиросы, закурил и сам. Оба уселись молча и неторопливо курили. Шакрула ждал, когда заговорит старший.

— Да вознаградит тебя аллах, — произнес наконец Мусиен, докурив папиросу. — Мне так хотелось покурить. Может, и я когда-нибудь пригожусь тебе.

Мусиен поднялся, делая вид, что собирается уйти.

— Вот я и пришел сейчас к вам, — удержал его Шакрула.

— Чем же я могу тебе быть полезным? — с деланным удивлением спросил Мусиен.

— Отдайте мне в жены Лейлу! — сказал Шакрула. — Я принесу вам любой свадебный выкуп, какой только назначите.

— Лейлу?! Да она уже обручена, разве не знаешь? Вот-вот будет свадьба. Ты опоздал, мой Шакрула, иначе я бы тебе не отказал. Какие родители не сочтут за счастье отдать тебе свою дочь?!

Увидев Шакрулу, поняла цель его прихода и мать Лейлы. А она было и мечтать перестала, что Шакрула станет ее зятем. Не дожидаясь приглашения мужчин, она подошла. С надеждой глядя на мужа, слушала, как Шакрула уговаривал Мусиена:

— Пожалейте Лейлу! Верните бахтияру подношения. Я поднесу вам вдвое больше, буду вам верным сыном.

— Но я же дал слово! — с сожалением ответил Мусиен.

— Бахтияр сделается моим врагом.

Но Шакрула не отступал:

— Я все улажу, никаких денег не пожалею.

Но Мусиен не соглашался:

— Не могу нарушить слово.

— Тогда я похищу Лейлу! — запальчиво сказал Шакрула. — Увезу куда-нибудь и спрячу так, что век ее не найдешь!

— Шакрула, — ответил Мусиен с достоинством, — ты забываешь, что я из рода Тагашвили, меня не залугаешь!

— Отец, я пришел к вам породниться, а не стать врагом, — с уважением произнес Шакрула. — Еще раз прошу, отдайте за меня Лейлу, пожалейте ее.

— Пожалей нашу дочь, Мусиен, — взмолилась мать. — Без Шакрулы она умрет.

— Замолчи, женщина! — прикрикнул Мусиен.

Но она не унималась:

— Подумай, Мусиен, что ты делаешь?! Не будет у Лейлы без Шакрулы ни жизни, ни счастья.

Мусиен заколебался.

— Не беспокойтесь, — воспрял духом Шакрула. — Бахтиар найдет себе другую жену, я сумею поладить с ним!

Шакрула достал из кармана целую пачку денег и с сыновней щедростью вложил их Мусиену в руку.

— Это пока... А с бахтиаром я все улажу, не волнуйтесь. Мать Лейлы просияла и поцеловала молодого человека в лоб.

Надо было уладить дело с бахтиаром. И Шакрула поручил это своему другу Амрезу.

Сперва соперник упрямылся, даже грозился убить Шакрулу, но посулы отступного сделали свое...

Лейла принесла в дом Шакрулы счастье. Любили ее и свекровь, и золовка. Но со временем в счастливую супружескую жизнь молодых стала вкрадываться печаль — у них не было детей. Шакрула возил Лейлу к лучшим врачам Исфагана. И наконец-то судьба сжалилась над ними и подарила им одну за другой двух дочерей. Их нарекли грузинскими именами — Маквала и Натела.

Вышла замуж и Тамрико. Она жила теперь по соседству, часто навещала семью брата и по-прежнему нежно дружила с Лейлой. Эта дружба стала еще крепче после кончины матери Шакрулы и Тамрико.

Дом Шакрулы был полон счастья и благополучия, но неожиданно тяжело заболела и слегла Лейла. Врачи обнаружили у нее порок сердца.

Лейла была обречена, она угасала на глазах.

Ясным весенним утром, когда в природе все ожгло и зазеленело и лицо Лейлы казалось спокойнее, чем во все последние дни, она подозвала к себе Шакрулу. Он сел возле постели жены, она нежно взяла его руку и сказала тихим голосом:

— Я скоро уйду, мой Шакрула. Твою любовь и нежность я унесу с собой...

Он прикрыл ладонью ее губы и не дал ей продолжать. Она слабо улыбнулась и отвела его руку:

— Я была такой счастливой женщиной, Шакрула! Но счастье не вечно, как сам человек.

Тяжелая слеза покатилась по ее щеке:

— Я оставляю тебе самое дорогое — наших дочерей. Сделай их счастливыми. Моя последняя воля: отведи их на родину. Ступить на землю наших предков было моей мечтой. Ей не суждено сбыться. Не хочу, чтобы мои дочери остались в Ферейдане, они должны пойти по проложенному тобой пути. Должны учиться, стать образованными людьми.

— Мы поедем все вместе, — пытался успокоить жену Шакрула.

Лейла тяжело дышала, ей не хватало воздуха. Собрав последние силы, она с трудом выговорила:

— Стань на колени, Шакрула, и по закону наших предков поклянись, что выполнишь мою последнюю волю.

К утру Лейлы не стало.

Завещание жены Шакрула свято хранил в своем сердце. Скопив достаточно денег, он начал хлопотать о поездке с дочерьми в Европу. Основной причиной этой поездки было якобы желание развеять свое горе.

Вскоре они уже были в Париже, а оттуда туристами приехали в Советский Союз.

И вот они в Москве! Сбылась, наконец, многолетняя мечта Шакрулы.

Шакрула и девочки, как замороженные, ходили по Москве и не могли наглядеться. Но вот наступил назначенный день, и Шакрула с дочерьми выехал в Грузию.

Тбилиси встретил их ярким солнцем, родной грузинской речью. Шакрула стоял на вокзальной площади, и ему казалось, что не было этой долгой и тяжелой разлуки, что только вчера он уехал отсюда.

Сев в такси, Шакрула велел водителю ехать не к Силовану и Саломе, как ожидали девочки, а в Народный комиссариат внутренних дел.

Здесь он рассказал всю историю своей многострадальной жизни: как мальчишкой с добрыми грузинскими людьми уехал из Ферейдана в Тбилиси, как учился здесь, приобрел друзей, полюбил родину своих предков, почувствовал себя новым, свободным человеком и, как, приехав в Ферейдан повидаться с родителями, застрял там. И вот сейчас, через много лет, ему удалось вернуться. И хотя он приехал туристом, не хочет возвращаться в Иран и просит Советское правительство разрешения навсегда остаться в Грузии вместе с детьми. И еще он поведал о завещании своей покойной жены...

Шакрулу с дочерьми устроили в гостинице, и он поспешил по знакомому адресу в Сололаки. Вот и дом, в котором он провел самые счастливые дни своей жизни. Он почти пробежал через двор, поднялся на третий этаж и нажал кнопку звонка. Сейчас он услышит дорогой певучий голос тети Саломе:

— Кто там?

Но ему долго не открывали. Он позвонил еще раз, настойчиво и нетерпеливо. Дверь, наконец, приоткрылась, и он увидел сморщенное лицо старой женщины:

— Вам кого? — спросила она хриловато.

Шакрула назвал фамилию своих воспитателей.

— Они давно умерли, — бесстрастным голосом ответила старуха. — Мы живем здесь уже двенадцать лет.

Ему так хотелось хотя бы переслупить порог дома, о котором столько мечтал все эти годы, даже запах которого он помнил, но дверь захлопнулась.

Шакрула медленно спустился по лестнице, вышел во двор. Горе комом подступило к горлу. Он еще не верил, что больше никогда не увидит ни дядю Силована, ни тетю Саломе. Как жестока смерть!

К нему подошел незнакомый пожилой мужчина в сванской шапочке и участливо спросил:

— Вы кого-нибудь ищете?

Шакрула объяснил, что жил здесь когда-то и хотел бы узнать о своих друзьях.

— Э-эх, много воды утекло за это время, — сокрушенно вздохнул человек. — война прошла, многих мы не досчитались.

Шакрула узнал, что Сосо погиб на фронте, а его сестра Дали окончила университет и работает учительницей где-то в районе, но где — этого сосед не знал.

Шакрула и его девочки получили права советского гражданства. Это был счастливейший день их жизни! Вскоре Шакрула устроился на работу, а дочерей поместил в коджорский интернат. Ему, одинокому мужчине, было трудно воспитывать дочерей.

Однажды Шакрула был в Министерстве просвещения. Он уже собирался уходить, когда в коридоре его окликнула женщина, которая вышла следом за ним из кабинета.

— Шакрула!

Он вздрогнул — голос показался ему знакомым — и обернулся: перед ним стояла немолодая женщина в элегантном костюме.

— Не узнаешь? — спросила она.

Он узнал ее глаза.

— Дали!

Они сидели в маленьком кафе в тихом углу за столиком и, перебивая друг друга, рассказывали, рассказывали о прожитых годах.

— Я писала тебе часто, много писем. Я не могла тебя забыть.

— О, если б хоть одно из этих писем дошло до меня!

Шакрула узнал, что во время войны Сосо добровольцем ушел в армию и погиб в Крыму, а их родители умерли от горя. Узнал и о том, как терпеливо она ждала его возвращения и как, оставшись одна, вышла замуж и муж ее погиб в боях за Сталинград. Узнал он и о том, что сейчас она живет в Телави и учителем там в школе. Он подробно рассказал ей о своих горестях...

Друзья детства поженились, и Дали переехала к мужу в Тбилиси. Первое, что она сделала, это забрала девочек из интерната. Вскоре девочки привязались к ней, и она полюбила их как родная мать.

Шло время. Успешно закончив школу, Маквала поступила в педагогический институт, Натэла — в медицинский.

«О, если б Лейла могла все это видеть!» — часто думал Шакрула. Совесть его перед покойной была чиста — он выполнил ее завещание. Их Натэла и Маквала стали достойными дочерьми «Большой Грузии».

Но мысль об угнетенных братьях, живущих в Ферейдане, не оставляла его. Как мог он жить спокойно, пользуясь всеми благами свободного человека, когда его братья и сестры живут в бесправии и нужде?!

Дали понимала и разделяла все его чувства, старалась подбодрить:

— Ты же сам видишь, как изменилось положение. Судьбой ферейданцев интересуется теперь вся Грузия, а не только отдельные интеллигенты, как это было в годы твоей юности. Сейчас другие времена...

В Доме культуры учителей былолюдно. Тбилисцы пришли сюда на просмотр нового документального фильма об Иране. Но с особым волнением пришла смотреть этот фильм семья Шакрулы Папиашвили.

Замелькали первые кадры. Шепотом Шакрула называл Дали улицы и площади Тегерана, Исфагана и других иранских городов, где он бывал не раз. Но вот на экране породской пейзаж сменился деревенским: бескрайние поля, родники, горы и дома с плоскими кровлями.

— Марткопи! — почти вырвалось у Шакрулы. — Моя деревня!

— Наш дом, наш дом! — узнали девочки.

Шакрула с трудом сдерживал желание подбежать к экрану, потрогать все это рукой. А на него с экрана смотрели улыбающиеся лица ферейданцев, довольных тем, что к ним приехали кинематографисты из «Большой Грузии» и снимают их. И вдруг Натэла вскрикнула:

— Тетя Тамрико!

Это действительно была Тамрико с мужем и детьми.

Когда фильм кончился, на сцену вышла съемочная группа. Режиссер рассказал об Иране, о ферейданцах. В заключение он неожиданно сказал:

— Среди вас, друзья, в зале находится ферейданский грузин — Шакрула Папиашвили со своей семьей.

Зал оживился. Каждому захотелось своими глазами увидеть грузина из Ферейдана.

Шакрула смутился.

— Встань, — тихо подсказала Дали. — Поклонись народу. От имени ферейданцев.

РЕШЕНИЕ

П о в е с т ь

1

«Надо решать уже, надо решать, куда еще откладывать, решать надо», — думал Иорам, зябко и бессонно ворочаясь в постели. Вот уже в какой раз вдруг просыпался он ни свет ни заря и болел этим «надо решать», нудно так, тяжело болел. А что, собственно, решать, когда все решилось уже без его участия, а точнее, при молчаливом, упрямом его несогласии с решением, которое задевало, дразнило, душно кололо его в сердце, но которое ни оспорить, ни тем более изменить он не мог, а если подумать, и не хотел. То, что не мог, и выводило его из себя, накаляло его самолюбие, мужское, если угодно, достоинство, а то, что не хотел, и заставляло его тупо молчать, давиться этим раздражением и просыпаться, как сейчас вот, посреди ночи. Где-то в глубине души ему даже полегчало оттого, что решил все дело не он, а жена и сын, самовольно, сплеча, рассчитывая явно на его попустительство и молчаливое, хоть и обиженное, потворство. Машина, видите ли, им нужна позарез, ну просто вынь да положь, а то, что для этого дом продать надо, родовое гнездо, очаг родительский, им как-то все равно, не их потом-кровью дом тот полит, не в нем они родились и росли, да что там, даже гостевать они в нем тяготились, из-за него только и терпели три-четыре, от силы, дня в году. Правда, и их винить не следует, в другое время они родились, в других условиях протекала их жизнь, и память их никак не привязана к тому дому, но...

Иорам встал тяжело, без опаски, ведь спал он один, в своем кабинете, на широкой удобной старой тахте, принимавшей безропотно его большое, долгое тело всеми своими вмятинами, этим его же телом и продавленными. Он любил спать здесь, в пыльной духоте от обилия книг, и спалось ему вольно, в охотку, нетревожно, и встать он мог, когда заблагорассудится, не боясь разбудить кого-нибудь из близких, да и работать мог в любое время, без оглядки, как душа просит, наслаждаясь сугубым одиночеством, несуетливым покоем и ясностью неторопливых мыслей. Но сегодня ни покоя, ни ясности мыслей как не бывало. Бессонница, бездельная, нерабочая, липкая такая бессонница стягивала виски, глазные яблоки давяще вспухли, и тело свинцово отяжелело. Он засветил настольную лампу, но зелено-ласковый ее свет не пролил в него ожидаемого умиротворения, напротив, уродливые коренастые тени шкафов, секретера, стеллажей, угрожающе обступили его, потянулись к босым, холодно онемевшим вдруг ступням, вызвав

в нем паническую, стыдную робость. Дрогнувшими пальцами Иорам раз, два, не попадая, нажал на кнопку лампы, наконец погасил ее и облегченно выдохнул в наступившей вновь, ровной темноте. Вытянув вперед правую руку, он незряне шагнул к тахте, наткнулся на тупую гладкость шкафа, нащупал ногой острый выступ тахты и обессиленно рухнул на податливую ее сухость. За окном посветлело, даже сквозь толстые шторы просачивался грязно-серый рассвет, отрывая липкий пластырь бессонницы с его вспухшего лица. И внутри все стало комковато-смятым, полукартины-полумысли затопили тщательно охлаждаемый в течение многих лет и, казалось, уже навсегда упорядоченный и аккуратный мозг. Он гордился всегдашней своей внутренней подтянутостью, ясностью и самоуправляемостью. Было ли это достоинством? Он был убежден, что да, и всячески стремился отделить, очистить себя от душевных эмоциональных всплесков, которые вдруг сдавливали горло, туманили глаза и начинали мозг лихорадочно проскакивавшими кадриками трудно забытого и совершенно неуместного уже некогда пережитого им состояния-события. Такие мгновения он называл «смутным» временем и основательно побаивался их деструктивного (именно так определил он то, что с ним происходило) воздействия. После таких вот смут, он становился каким-то мято-изжеванным, расплывшимся, как пятно чернил на зеленом сукне стола заседаний в институте, и совершенно неожиданно для себя самого — упрямо-несговорчивым... А это нерешительное, студенистое «что-то надо решать» колошилось, растекалось в его бессонном мозгу, как и в тот тоскливо-стылый вечер, когда оно впервые и уже на прочно поселилось в нем, возникая в самые неподходящие моменты его жизни и требуя от него действия, к которому он не был готов...

Поминальный стол был накрыт в большой комнате, в самом ее центре, где всего лишь два часа тому назад стоял гроб с телом его матери. И чудовищная несовместимость этих двух взаимоотрицающих явлений горько поразила его тогда. Все в нем вяло, сумрачно протестовало, отворачивало от старинного обычая, и дурнота обручем перехватила горло. Но люди деловито устраивались за столом, их покрасневшие, чуть влажноватые от холода руки потянулись к вилкам, в стаканы с бульканьем полилось вино, приличествующе-значительно задвигались челюсти, застучали ножи. На него смотрели выжидающе, мягко, соболезнующе, приглашая его принять участие в веками стоявшемся и потому уже обиходно-обыденном действе. И он, преодолевая дурноту и стремясь погасить неодолимо-тягостное отращение к происходящему, стал жевать хлеб с полынным привкусом, невидяще тыча предательски звонкой вилкой в пустую тарелку. Дядя Ефрем незаметно подтолкнул его в бок, к чему-то его призывая, и он мучительно старался вспомнить, как положено вести себя в подобных случаях. Вспомнил. Иорам встал, нащупывая рукой ускользающий стакан, и осипшим вдруг голосом попросил дядю Ефрема руководить столом. Дядя Ефрем многозначительно оглядел присутствующих и не спеша приподнялся со стула: было

тихо, но для вящей убедительности он постучал ножом по стакану с вином, требуя внимания к себе и к своим словам.

— Мы собрались сегодня за этим печальным столом, чтобы бы помянуть нашу дорогую Маро, чтобы облегчить утраты ее близким. Человек смертен — таков закон природы, и каждому из нас предстоит проделать путь в мир иной. Но человек умирает дважды — один раз, когда он умирает физически, и второй раз, когда умирает в памяти близких. В день, когда мы навсегда попрощались с Маро, я хочу сказать, что в памяти всех нас она останется, пока мы живем на этом свете. Аминь.

Дядя Ефрем долгим взглядом посмотрел в свой стакан и медленно, не отрываясь, выпил его до дна. Оporожнив стакан, он осторожно, без лихости, поставил его на стол, вытер рукой сивые усы и сел грузно на скрипучий стул. Замолкший было стол пришел в движение. Один за другим вставали старики — родственники отца Иорама, друзья детства самого Иорама, уже погрузневшие, немолодые; товарищи его сына, картинно-стройные, едва сдерживающие веселье, слегка притушенное происходящим, неглубоко загнанное внутрь их еще беспечальных сердец. Говорили, кто как умел, безыскусно и витиевато, кто длинно, кто коротко, но все искренне, бесконечно веруя в силу сказанных слов, утешаясь и утешая, стремясь забыть и помнить. Иорам растрогался, глаза его повлажнели, голос треснул, раскололся. Он хотел сказать нечто важное, сгустившееся, набухшее в нем за эти три сплошных без границ дня, но слов не было, это у него-то, славящегося своим ораторским даром, таким бесполезным теперь, на тризне по собственной матери. И вдруг просветленно, явственно почувствовал, осознал он всю искусственность, полость своей прежней жизни, необязательность поступков своих и неправедность кратких целей, ради которых растрачивал он безоглядно свою природу, которая была, была ведь здесь, зримо копилась и зрела в нем под сенью этого дома в невесть когда бывшем детстве. Ил и тина — вязкие, невыпускающие, прилипчивые, сковали эту природу, воздвигли преграды на ее пути, и вот сейчас стоит он здесь и беззвучно открывает рот, потому что сказать ему, оказывается, вроде и нечего, а если и скажет он все же что-либо, то будет это неправдой, недостойной свежей могилы его матери, и люди, славные, добрые люди, сидящие с ним рядом, догадаются, наверняка догадаются об этом и осудят его. Еще несколько дней тому назад люди эти с осуждением ли, с похвалой ли были ему безразличны, далеки от дней и дел его, они попросту не существовали для него, тогдашнего. Но теперь вдруг вот эти люди вправе, и право это без колебаний доверил им он сам, вершить над ним суд, и приговор их будет окончательным и обжалованию не подлежит. Он представил себе, как жила его мать в этом разваливающемся, расплывающемся, как бы лишившемся фундамента доме целых двадцать одиноких лет, жила среди вещей, теней и отблесков прошлого, жила с надеждой на его возвращение под отчий кров, к ней, все еще веря и уже не веря, что такое может когда-нибудь случиться.

А он жил своей добротной, упорядоченной, навсегда отрезанной от ее надежд и веры жизнью, методично откупаясь от ее существования денежными переводами, немалыми, при всей изменчивости времен, деньгами, судорожно веруя в неотменимую силу этих бумажек с прихотливыми, хитроумно непознанными водяными знаками, в силу, словно способную подменить, заместить его самого. Были ли у него угрызения совести? Конечно. Но он слабо отмахивался от них, прятал голову в будни, оправдывая себя неуступчивым упрямством матери, не желавшей, несмотря на все уговоры, переехать к нему на постоянное жительство. И разве могла мать переехать, вот так просто, бросив на произвол судьбы дом, который и был единственным смыслом ее существования, единственным оправданием ее жизни и самой ее жизнью? И разве не был он малодушно неискренен, предлагая ей это? Но ведь и он не мог бросить свою работу, которая тоже составляла суть его существования, бросить семью, не представлявшую даже в самых смелых своих помыслах иной жизни, иной среды, иного быта. И эта разорванность, раздвоенность утомляла, терзала его, не давала наслаждаться удобствами годами, трудом и терпением отлаженной, обкатанной жизни, которой он втайне гордился, ибо все его окружавшее было плодом его мозга, рук, порождением его фантазии и желаний.

А мать жила в доме, в котором заклинилось, остановилось время, в котором отчетливо раздавались голоса его бывших обитателей, в котором каждый новый день был неотличимо похож на минувший и грядущий дни, и каждая новая ночь длилась так же долго и бессонно, как каждая минувшая и грядущая ночи. В шесть часов утра простоволосая, обескровленная одинокой тягучей ночью мать отмыкала трудно открывающиеся ставни, впуская в сумрачные углы комнаты серый рассвет, откидывала засов двери, ведущей на балкон и в сад, садилась на каменную ступеньку, чтобы впустить в свои увядшие легкие росный, холодноватый утренний воздух, без которого она задыхалась в плотно закупоренной комнате всю ночь, жадно ожидая вот этого мгновения. Так сидела она на ступеньке, пока мягкое солнце не касалось ее шафранно-желтого лба в редких свалывшихся прядях пегих волос. И тогда начиналась работа, привычная, нетяжелая, необходимая, имеющая раз и навсегда заданную последовательность движений, жестов, маршрутов. Передвигалась она осторожно, скупо, боясь упасть, сберегая малые свои силы, но успевала сделать за день все нужное в доме, огороде, подполе. Она не любила перебивать начатую работу, потому что начинать все сызнова ей было трудно, и соседки, зная это, заглядывали к ней лицом вечером и уже дотемна не уходили с балкона, обсуждая с ней новости тридцатилетней давности, и разговор их был со вздохами, частыми припоминающими остановками, жидким, негромким смехом, обрывавшимся неожиданно, будто был он неприличен, стыден для них, потерявших все, что они любили, помнили и знали. Чай, вопреки ожиданию, не согревал их языки, высохшие тела, и они кутались в шали в темную клетку с кучей от ветхости бахромой по краям. Но и шали не грели их,

и они расходились по своим домам, а мать, придирчиво проверив все засовы, щеколды и крючки, запахнув ставни, пожимаясь в холодную постель, чтобы бессонно-дремлюще, в тусклых и горчаще-сладостных видениях провести еще одну ночь своей закатной жизни...

Иорам очнулся от своих мыслей с вилкой в одной и пустым стаканом в другой руке. За столом было уже шумно, словно растаял непрочный ледок, образовавшийся от холодного дыхания смерти, и люди вновь приобщились к земным радостям, вкусив вина, хлеба, терпкой зелени, отмежевавшись от смерти своей общностью, жалостью к умершей, любовью друг к другу и верой в слово, которое, называя, придает твердость поступкам и памяти. Вино пьянит само по себе, но смешанное с печалью, оно опьяняет быстрее, легче и тяжелее. И понимая это, стесняясь себя опьяневших и, чтобы не омрачать просветленности и торжественной углубленности поминального застолья, люди встают, бережно и участливо прощаются с Иорамом, уходят.

И наступает ночь под уже необратимо опустевшим кровом, и посреди этой ночи возникает это «что-то надо решать», и это «что-то надо решать» не только и не столько о доме, потерявшем опору, обреченном на темноту, немость и холод, сколько о жизни, которую уже не вернуть и которую еще надо прожить Иораму и его сыну. И это «что-то надо решать» совсем не то «что-то надо решать», о котором пронзительно говорит вдруг почужевшая ему жена, а нечто другое, над чем надо думать и думать, думать и думать всю оставшуюся Иораму жизнь, и он знает, что отныне не отпустит, не отвяжется от него это неотчетливое, но тревожащее «что-то надо решать», и предчувствие этого холодит его задубевшую было, замкнутую душу. «Что-то надо решать».

II

А вот и солнце прошило шторы, процедилось на письменный стол, до звона натянутой леской повисло в комнате. Он понимал, что пора вставать, пора начинать день, пора приниматься за дело, но тело его не слушалось, отказывалось повиноваться, предательски бездействовало. Но он все же встал, присел на тахту, нащупал босой ногой тапочки. Еще одно усилие, и пол заскрипел под его ногами. Он подошел к окну, с треском отодвинул, почти отодрал тяжелую штору, рванул окно, впуская в комнату тепловатый, жидкий воздух. Предметы приобрели резкость, форму, цвет, и он стал постепенно выдыхать из себя застойный ночной воздух, тяжелевший легкие и замедлявший сердце. Он переплел пальцы рук, с хрустом потянулся и пригрозился жить. Накинув на плечи махровый халат, он прошагал в ванную, доснившуюся бело-голубым кафелем, торопливо скинул пижаму и встал под острую струю душа. Он смотрел на свои круглые безмышечные руки, на пухлую мохнатую грудь, на тугой выпяченный живот и презрительно-жалостливое отвращение овладело всем его существом. Неужели это оплывшее, задышающееся, жирное тело принад-

лежит ему, называется его именем, носит его мозг и душу. И как: он допустил это, как дошел до такого состояния, как прудал, отринул, отверг щедрость природы, наделившей его длинными мускулами, мощным разворотом плеч и легкостью. Что общего между ним нынешним и тем, прошедшим, невозможно прошедшим. Возраст, да. Но возраст не в силах так изменить, деформировать, расплющить тело. И потом, ему не так уже и много лет. Нет, не в возрасте дело, просто душа его, обленившаяся, дряблая, самодовольная, вышла наружу, отпечаталась в облике, обезобразила плоть. Он яростно хлопал себя по груди, по бокам, по ягодицам, мстительно радуясь боли, которую он причиняет этому совершенно чуждому существу. Потом неожиданно опустил руки. Вода безразлично струилась по побагровевшей коже, медленно возвращая ей привычную бесцветность. Но спокойствие уже не возвращалось. Он устало, без вседневного тщания обтерся сыро-потяжелешим полотенцем и торопливо натянул пижаму на влажное, в капельках невпитавшейся воды, тело. Помутневшее зеркало странно искажало его лицо, небритые щеки были лилово-черны, выпученные глаза едва удерживались набрякшими веками, удлинившийся, распухший у кончика нос навис над вывернутой губой. Он судорожно мазнул полотенцем по зеркалу и нетерпеливо заглянул в него еще раз. Все было по-прежнему, разве что стало резче. Он закрыл глаза, чуть помедлил и силой разлепил непослушные веки. На него смотрело все то же лицо. Электробритва прокладывала на его щеках светлые бороздки, которые, неуклонно расширяясь, вызвождали из-под щетины его лицо. И оно постепенно светлело, разглаживалось, принимая страстно ожидаемые Иорамом выражение и форму. Закончив бритье и прочищая бритву щеточкой, Иорам то и дело исподтишка, как бы незвначай, взглядывал в зеркало, словно боясь вновь встретиться с испугавшим его чужим лицом, но на него смотрело чуть порозовевшее, свежее и знакомое свое лицо. И это подбодрило, подхлестнуло его, паника улеглась, и сердце забилося ровней. Он широко распахнул дверь в прихожую и в неизменном своем халате уверенно шагнул в кухню. Лимонно-желтые кафельные стены кухни слепяще отражали солнечный свет, и этот отраженный свет, словно бритва, резанул по успокоившимся было глазам Иорама. Желтизна волнами просачивалась в зрачки и растекалась по лицу, придавая ему малярийно-болезненное выражение. И его затрясло, как в детстве, при остром приступе малярии, а во рту ощутимо разлилась пронзительная горечь хинина.

— Пожаловал, наконец, сколько можно чай подогреть, я тебя спрашиваю, сколько? И яичница остыла.

Брюзжание жены, такое привычное и постылое, возвратило его в себя, лихорадочная дрожь затихла, и челюсти плотно прикапали друг к другу. Он уселся верхом на пластиковый табурет, и полы халата, обнажив его волосатые ноги, послушно улеглись рядом с тапочками. Рыжие бельма глазуньи нацелились ему прямо в лицо, и он, не выдержав заворачивающего взгляда, пронзил их вилок. Желтая слизь затопила золотисто-белое пространство сковородки. У яичницы был синте-

тический привкус, и Иорам сжевал ее быстро, не вникая в подробности. Жена что-то продолжала говорить, губы ее двигались, то округляясь, то превращаясь в тонкую полоску, и он увлекся их беззвучным говорением, созерцанием этикетных жестов женных от лица и живущих самостоятельной жизнью беспоконных существ, прихотливо изгибающихся в заданном ритме. И вдруг он понял, как это просто — ничего не слышать, надо лишь переключить, занять внимание, сосредоточить его на чем-то необычном, и это открытие развеселило Иорам. Теперь-то он знает, как вырубать звук, сохраняя полную иллюзию слушания в говорящем. Вкрадчиво включалась и выключалась ледяная туша холодильника, судорожно потрескивало пламя газовых горелок, струя пара продолговато вырывалась из хобота чайника, и, накладываясь друг на друга, эти звуки укачивали Иорам. Он по инерции продолжал что-то жевать, не ощущая ни голода, ни вкуса пищи. И тогда перед глазами возникла прокопченная стена кухни в отчем доме, и сладкий дым сгорающих, истекающих слезой поленьев проник в ноздри. Перед ним слегка колеблющимся изваянием сидит его мать с трещиной ушедших в беззубый рот губ, слезящиеся ее глаза смотрят на вожденную для ее материнского сердца картину: Иорам, худой, голодный, жадно поглощающий испеченный ее руками мчади. И Иорам счастлив этим взглядом, который мягко щекочет его скулы, волосы, подбородок, счастлив, что он здесь, а не в ослепительной стерильности чужого уюта. А мать раскачивается все сильнее и сильнее, и уже не видно ее лица, тонкого и сухого, а вот уже нет и ее самой, исчезла, растворилась, и только восковые потеки на прокопченной стене, и только гул ветра за окном с ветхой занавеской, ветра, который унес невесть куда ее сухое, ставшее невесомым тело, и только нешумный шабаш осмелевших мышей на чердаке, и...

— Доброе утро, отец, мама, я тороплюсь, дай пожевать что-нибудь, чаю не хочу, соку. Не знаю, не знаю, когда освобожусь, тогда и приду.. При чем тут Лали, отстань от меня, пожалуйста, да, да, да, нет, я тебе уже сказал. Хватит, хватит. Нет. Да. Да, говорю... Мне и в этой хорошо, подумаешь, мятая. Обойдусь... Да, ничего я не брал... Как-нибудь в другой раз. Пока...

Речь сына для Иорам — код, шифр, ключ от которого он как-то незаметно утерял. Он всегда силился говорить на одном языке с сыном, но каждый раз отступался, ибо смысл слов сына был ему чем дальше, тем непонятней. Слова здесь ничего не значили, потому что ситуации, которые оба они называли одинаковыми словами, были разные, и слова только мешали понимать друг друга. Для общения они выработали некий эрзац языка, состоящий из междометий, жестов и умолчаний. Иорам с каким-то унылым бессилием отмечал, как все больше и больше отдаляется от него сын, отдавая дань лишь природе, навечно определившей в своем круговороте их взаимоотношение и место — отец и сын. А ведь Иорам жаждал иного: товарищества, дружбы, что природой не предусмотрено и предоставлено ею свободной игре человеческих чувств. Изумление Иорам, что это вот существо — его чадо, возникнув раз вме-

сте с рождением сына, никогда уже, даже и сейчас еще, не покидало его. Сначала это было счастливое изумление, к которому затем, с течением времени и взрослением сына, приешивалось чувство неосознанной печали. И вот теперь он смотрит на сына, стоя расправляющегося с завтраком, и не узнает его, не узнает себя в нем, в таком небрежном, сыто-ленивом, с толстыми ляжками, плотно обтянутыми выцветше-вытертым «суперрайфлом», с нарочито замедленными движениями рук, с холодновато-красивым лицом киногероя. Сын умен, образован, ледяно-вежлив, но нет в нем огня, удивления, радости. А ведь как умел радоваться Иорам в его возрасте, радоваться мелочам, первому костюму, мешковатому, с накладными «липовыми» плечами, который приобрел он лишь в двадцать четыре года, заработать деньги в ночных попруэках на товарной станции, радоваться всему, чего, как казалось ему тогда, он вовсе не был достоин. У Иорама, да и, наверное, у всего его поколения не было вкуса к вещам, к одежде, к комфорту, и даже много позже, когда все это стало вполне достижимым, он чувствовал себя не в своей тарелке, безоглядно передоверив заботу о своей внешности, благоустройстве квартиры и, что самое непростительное, — о воспитании сына — жене. И сын его стал снисходительно-интимен с вещным миром, ощущая себя в нем уверенно и властно. И вдруг Иорама неожиданно кольнула едкая мысль: мир вещей не так уж прост и безобиден, как кажется непосвященному. Он настойчиво, вкрадчиво, исподволь втирается к человеку в доверие, становится ему необходимым и, добившись этого путем услужливости, безотказности и покорства, сам постепенно овладевает чувствами человека, отгораживает его от прочего мира, требуя за полновластное обладание собой душу. Он вспомнил, с какой лаской обтирала жена и без того сияющие поверхности многочисленных вещей в их доме, с лаской, которой с незапамятных времен был обделен ею Иорам, как отражалась вся она в призрачных зеркалах полировки, холодно взирая из этих зеркал на все вокруг. И ее отражение безраздельно принадлежало уже вещи, и вещь цепко удерживала в себе ее отражение, и отражение это было душой, переселившейся в дерево, металл, стекло. И пораженный этой мыслью, Иорам неловко поднялся с табурета и, путаясь в полах вдруг ставшего широким халата, заспешил в гостиную. Сумеречная духота встретила его здесь. Шторы надежно охраняли вещи от дневного света, тускло мерцали едва различимые предметы, слабо, потусторонне позванивали и вспыхивали хрустальные висяльки люстры, оттягивающей своей неудержимой тяжестью потолок; приземистые кресла и поджарые стулья в белых кулдуксклановских балахонах чехлов полукругом угрожающе обступили Иорама, отрезая ему все пути к отступлению. Бесчисленные шкафы-стенки плечом к плечу вытянулись, как на параде, выгнув колесом полированные груди в медных ордемах причудливых ручек. Стройное и узкое зеркало на ножках-ходулях мгновенно втянуло, всосало в себя Иорама, и он выглядывал из него потерянно и тоскливо. Захотелось кричать, сопротивляться, растолкать бессильными руками плотное

кольцо безмолвного воинства, стремящегося заполнить, завлечь, задавить его. В эту минуту он ощутил себя ребенком на вращающемся круге, перебирающим руками неподвижный руль, чтобы убыстрить движение круга. Но испугавшись, что то, он намертво вцепился в руль, а круг вращается и уходит из-под ног, норовя сбросить, вытолкать его, и сминающая, валяющая с ног сила эта кажется неведомой, невесть откуда на него обрушившейся, а ведь высвобождена, вызвана она самим ребенком, жаждущим движения, полета, скорости. Уходит из-под ног паркетный пол, хищно пикирует на голову люстра, вот-вот сомкнутся вокруг Иорама взбесившиеся кресла, стулья, горки. Иорам отступает, нацупывая рукой хоть какой-нибудь спасительный предмет. Вот он, тяжеленный бронзовый подсвечник — Иорам схватил его, внутренне ликуя, но вдруг под ноги метнулось что-то круглое, скользкое, огромное, и Иорам, почти падая, нанес прицельный удар. Ужасающий треск или взрыв потряс комнату. И вдруг зажегся свет. Жена с перекошенным от изумления и ярости лицом стоит перед ним, вооруженным подвечником, подпирающим ногами в тапочках осколки китайской напольной вазы. Халат его задрался, поза его воинственна, и зеркало в полный рост воспроизвело его, карающего. «Вот и решился, лудит несчастный», — бормочет смущенный и посрамленный Иорам, а жена кричит, и голос ее вырубить никак не удастся, и Иорам уходит, хлопая полами халата, таща в поникшей руке забытый подсвечник. И вдруг как захохочет Иорам, в полный голос, задыхаясь, сгибаясь и придерживая грудь руками. Хохот его победно взмывает под потолок, вызвав переполох висюлек на люстре, вырубает голос жены, еще более изумленной и встревоженной, освобождает Иорама от травящего засилья. «Бедная ваза, она-то тут при чем», — переодеваясь, вслух думает Иорам, но где-то в глубине души он доволен своей неожиданной вспышкой, доволен протестом, пусть бессмысленным, ребячьим, но протестом против своего безмерного молчания, оглушительной покладистости и болезненной нерешительности, жертвой которых, возможно, стал его сын, плененный, выхолощенный, обкраденный миром вещей, который так бездумно множил Иорам. «Что-то надо решать, — как пароль вновь зазвучало в нем, — что-то надо решать».

III

Утренние пешие походы в институт стали ритуально обязательными в не столь уж разнообразной жизни Иорама. Двадцать пять минут неторопливой, отрезвляющей ходьбы в любую погоду были наполнены для Иорама глубоким смыслом. Он сосредоточивался, заряжался на дело после нащипованной тревожачими сновидениями ночи, после безнадежных утренних потуг изменить хоть что-нибудь в своих отношениях с сыном и, в особенности с женой, отгороженных от него глухой стеклянной стеной, сквозь которую хорошо видать и выражение лица, и жесты, но голос свой, как ни кричи, донести до слуха собеседника невозможно, а реплики невпопад доносятся до тебя едва слышно и будоражаще. Он выбегал из своего

парадного потерянный и обескураженный, но чем дальше, тем больше успокаивался, шаг его обретал приятную пружинистость, голова ясна, и предстоящий день виделся ему обещающим и обнадеживающим. Он шел мимо зданий, которые уже не возбуждали новизной сетчатку его глаз, но иногда вдруг поражали его взгляд незамеченными ранее деталями, орнаментом либо архитектурным ухищрением. В таких случаях он останавливался, отходил к краю тротуара или даже переходил на другую сторону улицы и оттуда уже стремился целиком охватить взором здание и определить в нем место вновь замеченного элемента. Он ужасно гордился открытым им таким образом балконом редкой красоты, резко выламывающимся, выпадающим из жестких линий городского пейзажа своей патриархальной округлостью и легко угадываемой деревенской породой. Иорам затем долго еще тихо ликовал и упивался ностальгической трогательностью «своего» балкона.

С Иорамом здоровалось много встречных, ибо благодаря магии телевидения, по которому он регулярно читал лекции, в городе его знали, и это доставляло ему немалое удовольствие. Особенно льстило его самолюбию внимание совершенно незнакомых ему людей, которые почтительно здоровались с ним, и он охотно поддерживал эту ипсу в знакомство, великодушно раскланиваясь направо и налево. Дорога в институт утверждала Иораму в своей значительности и популярности и этим подкрепляла расшатываемую иными недоброжелателями, а иногда, в пору сомнений, и им самим веру в себя. Нельзя сказать, чтобы он часто предавался самобичеванию, но беззастенчиво в его жизни минуты, подобные этой, когда ускользала из-под ног привычная почва и было просто необходимо ухватиться за любую соломинку, пусть даже за эти ни к чему не обязывающие кивки незнакомцев, чтобы не упасть непоправимо в собственных глазах. Дорога эта таила в себе и еще одну чрезвычайно ценимую Иорамом особенность — она подчеркивала устойчивость его бытия, неотменимость его положения в обществе и, что самое важное, престижность и высоту его дела, к которому он уже не то чтобы охладел, но утратил вкус, навык и былую фанатическую приверженность. Наука из повседневной работы, которой он уже не хотел, чтобы не сказать не умел, заниматься, превратилась для него в стояние в почетном карауле у тела покойного с траурной повязкой на рукаве. И хотя караул у гроба усопшего прустен, но есть в этом и своеобразная отрада: я жив, я стою, я члчу и меня, чтящего, чтят. Иорам был доктором наук, профессором, заслуженным деятелем науки, заведующим крупным отделом во всеми уважаемом академическом институте, хотя последним действительно оригинальным его исследованием была первая работа — кандидатская диссертация, задыхающаяся от обилия идей и нехватки места, чтобы развить, прописать, освоить их, юношески азартная, весело и смело крушащая бородатые авторитеты, наивная в своей попытке охватить все и вся, но честная, незаемная, своя. Он писал эту работу в восьмиметровой комнате огромной московской коммуналки на ныне сметанных с лица земли Колюшках. Письменный стол, заваленный книгами, раскрытыми

на нужных страницах, обрывками бумаги, заполненной его прыгающими без промежутков строчками, стоял впритык к стене — когда он поднимал усталые глаза, на него иронично и холодно смотрели узкие зрачки кенигсбергского аналитического философа. Встречаясь с этим взглядом, он робел, и рука невольно тянулась за спину, ища успокоительный край эмалированной ванночки, в которой сопел его шестимесячный сын. Кроватью для него Иорам тогда не достал, а если бы и достал, все равно ее негде было ставить, ибо в комнате уже были, кроме письменного стола, большая двуспальная кровать, полированный столик с круглыми пятнами от горячих стаканов на столешнице и два стула. Небогатая его и жены одежда висела на гвоздях, вбитых прямо в стену, покрытую толстой коричневой бумагой. Одежда прикрывалась пестрой ситцевой занавеской, взбухавшей буграми над его порыжевшим от времени черным драповым пальто на ватине и тяжелой цигейковой шубой жены, не по размеру великой, с теткиного плеча. Две незастекленные полки были плотно, до отказа набиты книгами, но для книг места все едино не хватало, и они были уложены в картонные коробки из-под масла, которые стояли под письменным столом, не давая расправить натруженные долгим сидением ноги... Малыш был на редкость, пугающе тих. Целые дни он либо спал, либо слабо гугукал в своей тесной эмалированной колыбельке. Ночью Иорам, задвинув в угол полированный столик, устраивался на полу у самой кровати, а на кровати засыпала жена с ребенком. Жена, замотанная дневными заботами, спала крепко, а сон Иорама был весь дырявым, в убогих заплатах редкой дремоты — каждое движение ребенка на кровати тревожаще отдавалось в Иораме, к тому же его преследовал суеверный страх, что обеспамятевшая ото сна жена может ненароком задавить ребенка. Жене в своих страхах он не признавался и в одиночку таскал в себе эту в общем-то вздорную тревогу. Работал Иорам иступленно, с пересохшим от жажды курения ртом, но курить в комнате он не мог, а выходить на лестничную клетку, минуя длинный и темный коридор, не хотелось: жаль было времени. Но несмотря на все неудобства, Иораму думалось хорошо и споро. Он ощущал в себе столько сил, столько невыплеснувшейся мощи, что в пору было горы своротить. Читал он быстро, тоненько отчеркивая прямо в книге стоящие внимания места, распахивал по нужным страницам бесчисленные, нарезанные из коробок для обуви закладки с только ему понятными значками на выступающем из книги их краешке. Нужные страницы он отыскивал молниеносно, с поразительной точностью, даже если закладка невзначай выпадала. Он без удержу радовался малейшей удаче, неожиданной мысли, верному слову и тут же спешил поделиться радостью с женой, слушавшей его покорно, но непонимающе, и потому пугавшейся его горячности и задора.

Соседи в коммуналке жили недружно, и низкий, едкий туман надвигающейся распри постоянно стлался над восьмью газовыми плитами с разнокалиберными кухонными столиками при них. Зычный звонок на входной двери был снабжен длин-

ным списком жильцов с точным указанием числа звонков. Стоило звонку приняться за работу, у жильцов тут же делались напряженно-заботливые лица, и они, беззвучно, двоявя губами, отсчитывали призывные трели. И не приведи тебя, ошибиться звонящему... На ночь дверь, кроме ключей, запиралась еще и на цепочку, и, если жилец-невозвращенец забывал перевернуть табель при уходе, горе ему — ночь на ступеньках лестницы была обеспечена ему пренебреженно.

Но, как ни странно, соседи, едва терпевшие друг друга, каждый в отдельности отлично ладили с Иорамом. Причиной тому была «чокнутость» Иорама и темное неведение в его занятиях, вселявших уважительную робость и почтительность к его персоне. Женщины в коммуналке, в бытность его холостым, то и дело подкармливали его дымящейся картошкой, квашеной капустой, маринованными прибоками, а мужчины, безо всякого, впрочем, успеха, соблазняли его то «белым», то «красным». Потому и появление в коммуналке сначала жены, а затем и сына Иорама было принято соседями с церемонной сдержанностью и без ожидаемого раздражения.

На защиту диссертации Иорам пригласил всех своих соседей — людей тяжелого физического труда, и они, польщенные его вниманием, а частью из-за неистребимого, еще не утоленного любопытства, пришли все до единого и стеснительно жались к стенам: женщины — в грузных платьях с треугольно топорщившимися плечами, а мужчины — в непривычных, кургуzych пиджаках, явно стеснявших их свинцовые, вольные торсы. Серьезно-торжественно, ничего не упуская, следили они за ходом защиты, и их присутствие здесь успокаивало тревожно ускользящее сердце Иорама. А вечером кухонные столы были вплотную сдвинуты, и женщины несли свое угощение, и пиршество раскручивалось громко и хмельно, сдабриваемое легким пружинским вином и пронзительной чаечей. И люди пели нестройные песни, добрели, мягчали друг к другу, напроць отмахнувшись от грошовых счетов, и кухонный, сварный чад рассеялся, было хорошо, и был мир полный, ясный, нетрудный...

Иорам вступил в сумеречную прохладу старинного институтского здания, без передышки одолел три крутых пролета и, трудно сглатывая застрявшее в горле сердце, медленно пошел по сводчатому коридору к своему кабинету. Его отдел занимал три большие комнаты, сплошь уставленные несвежими письменными столами. Иорам заглянул в каждую из них, громко здороваясь с сотрудниками, и это было сигналом к началу рабочего дня, который и без того был уже в разгаре, но лишь приход «шефа» придавал ему полноту и завершенность. Войдя в кабинет — удлиненную комнату с высоким узким окном, — Иорам скинул пиджак, закатал рукава рубашки и подошел к старинному книжному шкафу с толстыми стеклами. Каждый рабочий день он начинал с этого стояния у книжных полок — взгляд его плотоядно скользил по корешкам книг, то замедляясь, то проскальзывая без остановки. Он любил книги, их запах, вид, любил перебирать их, ощущая рукой фактуру переплета, наслаждался их доступностью и самой воз-

возможностью обладать ими. Но с годами он все реже и реже читал, довольствуясь простым созерцанием книг, заменявшим ему былую страсть к их анализу, освоению, впитыванию. Он объяснял это усталостью, считал свое состояние временным, преходящим, но потом понял, что в нем перегорела, атрофировалась жажда к новизне, к познанию. Он читал редкие уже книги холодными глазами, не включая в процесс свой мозг, свою душу, и закрывал книгу, словно освободился, отбив кем-то навязанную повинность. Сначала это тревожило, удивляло его, он даже узрел в этом симптомы некоей грозной, постепенно овладевшей его сознанием болезни, но проходили дни, и он привык, безропотно принял норов для себя состояние и даже наловчился авторитетно судить о книгах, которые он знал лишь по оглавлению, внешнему виду и фактуре переплета. Суждения его о непрочитанном были обтекаемы, восторженны и несправедливы, наконец, тая в себе возможность различного истолкования, в зависимости от ситуации, обстоятельств и цели. Он панически боялся разоблачения, дотошности собеседника и поэтому с неожиданной и не свойственной для себя изворотливостью находил способы нейтрализации нежелательных вопросов. Он научился многозначительно обрывать мысль именно тогда, когда от него ждали решающей оценки, делать усталый вид, словно дальнейшее обсуждение не имело смысла, ибо самое главное им уже сказано, а все остальное довершал его авторитет, его имя, которое само по себе уже значило что-то...

Иорам отогнал от себя расслабляющие раздумья и сел за свой массивный письменный стол. Из портфеля он достал статьи для сборника и стал внимательно пролистывать их. Надо было принять окончательное решение, какую из них поставить в сборник, а какую — нет. Собственно, решение уже было принято на ученом совете, и Иорам мог и не размышлять больше, но сегодняшний день томил, подзадоривал, подбивал его на необычные поступки, и он уже не мог совладать с искушением все перекраивать, менять, разрушать. Работы его сотрудников были выполнены в обычной холодно-академической, целлофанной манере, в манере, которую вводил, устанавливал и которой настойчиво добивался сам Иорам. От прочтения этих статей скучливо сводило скулы, пресно холодило во рту и ничего не менялось в мыслях. Теперь Иорам покинул плоды своих трудов, ибо все его сотрудники были некогда его аспирантами, крившими, выпекавшими свои диссертации по меркам и установлениям своего шефа. Иорам в былые времена ввел целый свод правил, определявших диссертательность тем и работ. Они сводились к тому, что диссертация должна быть одинаково приемлема для ученых, придерживающихся полярных точек зрения. «С одной стороны», «с другой стороны». «Как верно отмечает», «но, если вдуматься...» — формулы, которые должны были удовлетворять и примирять всех. Иорам славился высокой проходимостью работ, выполненных под его началом, и от аспирантов у него не было отбою. «Хочешь остепениться — иди к Иораму» — гуляла по институту насмешливо уважительная присказка, но все чаще насмешники

оставались при пиковом интересе, зато уважительные споры и без задержек вступали в большую науку. Иорам знал цену оригинальным идеям и нетривиальным выводам, но знал он также и то, что они не всегда по вкусу членам ученого та, и, встав однажды перед этим выбором, он выбрал и уже не отступался. На первых порах он самолично вытравлял из аспирантских работ все неудобное, острое, «крамольное», придавая им приличный, благопристойный, академический характер, но затем эту миссию взяли на себя аспиранты, прекрасно осведомленные о научных наклонностях шефа. Иорам стал главой целой школы, основателем обезоруживающего всех противников направления в науке. Бывали, правда изредка, строптивые ученики, с которыми не все проходило гладко. Иораму и самому была по душе их строптивость, неуступчивость, напоминавшие ему себя молодого, но он совершенно искренне желал им успеха, добра и благополучия, сглаживал, выравнивал все углы, снисходительно отмахиваясь от слабых протестов. Теперь он жалел, что ни одному из его учеников так и не хватило ни мужества, ни воли, ни упорства устоять перед его нивелирующим напором и отстаять свое. Иорам не знал сейчас, как бы поступил он в случае прямого, жесткого неповиновения или даже бунта, но ему казалось, в особенности же под воздействием «смутного» времени в его жизни, что он порадовался бы, поддержал это неповиновение, видя в нем проявление духа истинного ученого. Да, он виновен, виновен в том, что корежил, подминал, «облагораживал» ершистых, но то, что они без боя, без боли уступали ему свои позиции, говорило ему, что и они были не на высоте, что и они были виновны, что и они в глубине души желали своего поражения. Что ж, они достойны своей участи, своей доли, ибо искали в науке не себя, не истины, а только удачи, престиж и самоуверенности.

Иорам отложил в сторону материалы сборника, выудив из них лишь одну статью своего нового сотрудника, в которой был проблеск нетривиальной мысли, незатуманенного предчувствия истины и пусть не дорогая, но собственная тропиночка к ней. «Что-то надо решать, что-то надо решать», — опять ключе заворочалось в нем, и он, обхватив руками тяжелую голову, сгорбился над столом.

— Иорам Давидович, заседание совета уже началось, ждут вас.

Иорам встрепенулся, посмотрел на часы и нехотя поднялся со стула. В зале заседаний было прохладно, но уже накоплено. «Когда только успели», — поморщился Иорам, ибо даже намек на табачный дым вызывал у него спазмы в горле. Иорам сделал общий поклон и направился к своему привычному месту у окна. Стараясь не шуметь, он приоткрыл окно и настроился слушать. Говорил директор, старый друг и соученик Иорама, говорил, чуть заикаясь и упираясь кулаками в зеленое сукно длинного стола. Разговор шел о работе с сонскателями, которых было чересчур много. «Едва читать-писать научатся, тут же норовят диссертации оформлять», — язвительно шепнул сосед Иорама; Иорам подумал о своих сонска-

телях — дочери давнего друга, отказать которому он был не в силах, и весьма напористом молодом человеке с тяжелой челюстью и наглыми заискивающими глазами. Кроме весьма туманных названий тем прядущих диссертаций, они до сих пор так ничего и не удосужились представить Иораму. Иораму стало вдруг душно, табачный дым, казалось, проник в бронхи и заполнил легкие, сухой надрывный кашель выворачивал Иораму наизнанку. Очередь дошла до него. И Иорам встал, едва сдерживая взрывающий его изнутри кашель, и наотрез от своих соискателей отказался. Члены совета, выведенные из дремотного состояния сначала кашлем Иорама, а потом горячечно-резким его тоном, зашевелились. «Ни одной диссертацией больше руководить я не собираюсь. Хватит. И тех, что напек, хватит, в горле стоят, не сглотнуть. Наука — не забегаловка. Пора и честь знать». Ошарашенные филиппикой, члены совета с любопытством смотрели на Иорама. А Иорам стоял, держась руками за спинку стула, упрямо нагнув голову, всеми силами стараясь не свернуть, не отступить, что не раз уже бывало с ним на его веку. Директор глядел на Иорама спокойно, как бы обдумывая его слова, веря и не веря им, таким необычным в устах его однокашника. Он и не пытался что-нибудь сказать Иораму, не перебивал его, давая выговориться, высказаться до конца. А Иорам говорил без желчи, горько, словно бы вокруг никого не было.

«Я не успеваю даже книг читать, а когда я написал последнюю стоющую статью — и не вспомнить. Чему я могу научить, что я могу дать, когда мне самому давно уже пора поучиться. Я отстал, безнадежно отстал от современной науки и только делаю вид, что иду в ногу со временем. Чепуха. Надоело ставить свою подпись под чужими идеями, надоело водить холодным утюгом по воценой бумаге. Надоело». И Иорам опустился на стул с видом безмерно измученного, но освободившегося человека, наконец-то сказавшего все, что говорить не принято, в особенности же на людях. Он не глядел на коллег, ему было все равно, совершенно все равно. «Опять ваза. При чем же тут ваза?» — растерянно подумал Иорам и зашелся в грубом, сотрясающем все его грузное тело кашле. Директор скомкал концовку заседания и быстро вышел в коридор. Иорам, стараясь не смотреть по сторонам, последовал за ним. Он нагнал его у входа в кабинет. Директор посторонился, пропуская вперед Иорама, и, бросив секретарше: «Никого не пускать» — закрыл за собой дверь.

— Прости меня, ради бога. Понимаю, что глупо, но, поверишь, не мог я иначе, — прервал Иорам затянувшееся молчание.

— Чего ты извиняешься, не мог так не мог, — заикаясь, сказал директор и вдруг улыбнулся. — На пенсию выходить не собираешься, надеюсь?

— На пенсию пока рановато, но вот если в отпуск, возражать не стану, — в тон ему легко выдохнул Иорам.

— Что это вдруг на тебя снизошло? Откровение, что ли?

— Я и сам не знаю. Бес во мне упрямый поселился, толкает и толкает, мочи нет.

- Пиши заявление. Куда ехать собираешься?
— Домой к себе поеду. Я ведь теперь домовладелец.
— Один, что ли, ехать собрался?
— Один, надо же мне хоть раз побыть одному.
— Ну, одному в твоём доме несладко. Смотри,

хуже не стало.

— Куда уж хуже. Хуже не бывает.

— Делай как знаешь. А разговоров в институте будет...

Ну и заварил ты кашу...

— Пусть поговорят, скоро уймутся. Всем на рты замки не повесишь.

— Значит, охолодал уют, а?

— Нет, вощёная бумага перепрелась.

— Это ещё как сказать...

— Спасибо тебе.

— И тебе спасибо.

— Прощай...

— До свидания...

Иорам невидяще, но твердо шагал сквозь безмолвный строй своих сотрудников, поддерживающих, подобно атлантам, сдвигающиеся сводчатые стены коридора. На улице сквозь пыльную листву обессиленно просачивалось заходящее вылинявшее солнце. Бесчисленные автомобили, словно на траурной процессии, сдержанно и почтительно тянулись друг за другом, уплотнившийся воздух обкладывал Иорам обжигающими горчичниками. На высокоом лбу серого здания пошла, накапывая букву на букву, световая газета. Точечные буквы плавно, без судорог сходили на нет, и Иорам напряг зрение, пытаюсь сцепить их друг с другом, чтобы уловить ускользающий смысл. «Ч-т-о-т-о н-а-д-о р-е-ш-а-т-ь» — сложилось, сочленилось в глазах Иорам и без задержки пролилось в утомленный мозг. Даже не успев удивиться, Иорам произнес вслух: «Что-то надо решать», и неправдоподобная девушка в недвижных раструбах джинсов испуганно шарахнулась от него в сторону.

V

Таксист хотел подвезти Иорам прямо к дому, но Иорам остановил его у начала улицы, круто забиравшей вверх. Дом был восьмым по счету слева, и Иорам в шерстяном костюме, с плащом в одной и портфелем в другой руке пешком направился к нему. Мостовая была выложена мелким булыжником, а тротуар покрыт потончавшими беловато-желтыми каменными плитами, вытесанными где-то в начале нынешнего века. Кое-где плиты треснули, обломались, и под черными выбоинами, в глубине, глухо шелестела быстрая вода. Иорам шел медленно, весь в липком поту под тяжелым и жарким пиджаком. Дело шло к полудню, и солнце споро набирало ярость и слепящую белизну... И, беззащитный перед этим беспощадным солнцем, Иорам отчетливо ощутил прубую несовместимость свою и своего одеяния с этой тихой нелюбопытной улицей, утопающей в зелени, разбавленной редкими рыжевато-кирпичными и грязно-известковыми пятнами домов. Иорам неловко обходил частые выбоины, из которых дурно несло аммиачной

затхлостью и несвежей прохладой. Ни одной живой души не встретилось ему на кратком его пути к дому. Лишь старый облезлый пес, обессиленный солнцем и распластанный у городских ворот, отрешенно скользнул по нему сукровицей своим взглядом, трудно собрав убывающие силы, встал на три лапы и затрясся прочь. Иорам безуспешно толкнулся в соседские ворота, а затем выбил на них судорожную дробь негнущимся пальцем. Но шаги раздались не с ожидаемой стороны, а с противоположной — по-утиному переваливаясь, к нему спешила короткая, с опухшими столбообразными ногами тетка Ефросинья — в черном балахонистом платье, простоволосая, с сарделечными гроздьями пальцев козырьком над ослепленными резким светом глазами. Она явно не узнавала Иорама и, только подойдя вплотную к нему, коротко всплеснула руками и неожиданно повернула обратно к дому безумной тети Нуцы, откуда она и вышла минуту назад. Обескураженный Иорам даже не попытался окликнуть ее и сделал лишь два произвольных шага ей вслед. Но не прошло и мгновения, как тетка Ефросинья появилась вновь с громадной связкой ключей в руке. Багровое ее лицо было в поту и в слезах, она подошла к Иораму, жарко и мокро поцеловала его в подбородок, ухватила рукой за плач, бестолково свисающий с руки Иорама, и застыла, тяжело переводя трудное дыхание. Иорам растерялся еще больше, не зная, что говорить, как вести себя, но вдруг пошла толчками задышливая речь тетки Ефросиньи: — Иорам, сынок, как я рада тебя видеть. Бедная Маро, да святится имя ее, так ждала всегда этого часа. Где же Раиса, Дато? Здоровы ли? Почему не привез их с собой? А мы всю землю в саду перелопатили, лозу опрыскали, все вроде бы в порядке, но, ох, и тяжело без хозяйских рук да глаза. И дом держится молодцом, все цело и чисто, но вот что плохо: дом безлюдья долго не потянет. В общем, тебя, тебя дождаемся, что-то ты решил, Иорам, сынок? Ой, боже мой, на тебе ж лица нет. Вот, дура старая, держу тебя на солнцепеке, а ты так тепло вырядился... — И потеснила виновато Иорама к дверям дома, суня ему в руку тяжелую связку ключей. Иорам нащупал пальцами незабытую гладкость медного ключа, полегчавшего от долгого употребления, неловко ткнул его в замочную скважину и дважды повернул вокруг оси. Дверь, тоскливо пискнув, сухо отворилась в пекло галереи. Солнечный свет, почти не сдерживаемый ситцевыми занавесками, жидко затопил крашенный, в черных пятнах пол. Иорам толкнул дверь в прихожую, но она была заперта. Иорам беспомощно вертел в руках разномастную связку, не угадывая ключа от прихожей. Тетка Ефросинья выхватила у него ключи и сразу отыскала нужный. В прихожей было темно, но не менее душно. И лишь в низкой зале было прохладно. Высокие ставни надежно отделяли комнату от полууденной улицы, но узкие лезвия пыльного света, просунувшись сквозь редкие щели, воровато скрещивались на темной стене. Тетка Ефросинья зажгла люстру-самоделку, собранную в довоенные времена братом Иорама — Иродионом — из тоненьких стеклянных трубочек, которые, чуть откроется дверь, слабо позванивали, соприкасаясь.

— Отдохни, сынок, умойся с дороги, воду я утром в чаш набрала, а я сбегаю к Нуце, совсем бедняжка плоха стала, и поесть тебе приготовлю, приляг, отдохни, сомлел с жары, видать. Я тебе простынь чистых дам.

И потом был обморочный всклокоченный сон, и влажно-ватая парусина тахты хлопала в знойном воздухе, и мать прикладывала ледяное полотенце к его пылающему лбу, и брат Продион пушечно бил по мячу мощной левой, и мяч летел мимо вытянутых рук Иорама, и, всхлипывая, хохотала тетя Нуца и билась о взрывное железо ворот маленькой седой головой, и строгий строй узкогорлых ваз дефилировал мимо Иорама, и Иорам крушил их нежные выпуклые тела железным прутом, и сын Дато с повязкой на глазах шел вперед, вытянув руки, и Иорам пытался сорвать повязку с незрячих глаз сына, и руки Иорама, оторвавшись от тела, вершили в небе причудливый танец, и Ефросинья кричала в круглый мегафон: «Что ты решил, что ты решил?», и от этого крика пыльно обрушивались стены дома, и бревна, известка, камни осыпались на Иорама, прочно погребая его под собой, и над головой Иорама выл дряхлый пес о трех лапах, и мать отгоняла его черной косынкой, и директор тыкал в лицо Иораму утюгом, пышущим белым пламенем, и Иорам отбивался от него бумагой с круглой печатью, и...

— Проснись уже, сынок. Вечер на дворе, а ты голоден. Я тебе поесть приготовила, поешь. Нельзя спать натошак.

И Иорам надкусывал пластмассовыми зубами тугие, брызжащие клейким розовым соком помидоры, и вытягивал вилкой длинные нити сулгуни из дышащего гоми, и хрустел неопределенными еще, податливыми косточками янтарного цыпленка. А рядом, как некогда мать, сидела тетя Ефросинья и довольно глядела на свирепое лицо жующего Иорама мутными от старости и слез глазами. Стены кухни были закопчены до черноты, и замысловатые трещины, похожие на древние письмена, бесстыдно обнажали их деревянную основу.

А потом, оставшись один, Иорам вышел в сад. Было уже прохладно, в жухлой траве призрачно вспыхивали цинцинателы, лениво тянули тоскливую ноту цикады, ровно гудела трансформаторная будка, неожиданно белая в густой темноте, и жутко оскаливался череп с перекрещенными под ним костями на ее металлических дверцах. Черные плоды грузно касались лба Иорама, лоза усугубляла мрак непроницаемым для луны шатром широких листьев.

И вдруг Иорам явственно увидел себя пятнадцатилетним подростком — длинным, до черноты смуглым, с молодой порослью усов над пухлой, все еще детской губой, в холщевой серой рубахе, перехваченной витым самодельным шнурком. И сад, который был превращен в тяжелую военную пору в кукурузное юле. Желтеющая крепость невысокой членистоногой кукурузы, остроглавые снаряды молочных початков в зеленой чалме плотных листьев, шелковистые коричневые усы, кисточкой свисавшие с макушки чалмы. И мать, вышелушивающая потрескивающие початки, и крепкая желтизна кукурузных зерен, выдернутых из ноздреватых, осиротевших початков.

И шатаемый тяжестью твердого мешка, Иорам, петляя, бредущий к маленькой мельнице возле рынка, и желтая мушная пыль, тщательно стряхиваемая мельником с передника в алюминиевую мисочку, чтобы ни единая пылинка живительной муки не пропала в эту голодную годину. И солдатские треугольники братниных писем, которые однажды, после получения квадратного конверта с повесткой, перебежавшего им дорогу, перестали приходить домой.

И все: пятнадцатилетний Иорам исчез, растворился в густом мраке августовской ночи, и Иорам пятидесятилетний тщетно обшаривал повлажневшими глазами маленький сад, пытаясь увидеть то, чего глазами увидеть уже нельзя.

Иорам вернулся в дом и, не зажигая света, вошел в залу. Дом скрипел, шуршал, дышал и жил своей, начавшейся на заре века, с легкой руки деда Иорама, жизнью. А портрет деда, белобородого, степенного, с прищуренными молодыми глазами висел на стене столько, сколько помнил себя Иорам. И еще портрет бабушки со строгим лицом, в чихтакопи, с локонами по тогдашней моде. Бабушку Иорам застал худой, величественной старухой, жившей в семье дяди Иорама. Ноги уже не слушались ее, и она, облаченная в черную хламиду, целые дни проводила в бамбуковой качалке, молчаливая, напряженно прислушивающаяся к давно отзвучавшим голосам. Иорам носил ей материнские обеды в алюминиевых судках — бабушка не выносила невесткиной кухни. Иорам до сих пор помнил ее четки, янтарно-коричневые четки с черными мушками, навечно вдавленными в непрозрачную сердцевину. Четки эти бабушка подарила ему перед самой своей смертью, и теперь Иорам физически ощутил в руках их гладкую теплоту и твердость.

Иорам на ощупь подошел к комоду и выдвинул нижний ящик, где хранились семейные реликвии. В ноздри ударили знакомые с детства запахи пачули и ослабевшего нафталина. В темноте пальцы натыкались на странные предметы, на пачки бумаг, перехваченные резинками от пакетиков с порошками, на куски материи, но четки никак не нашаривались. Охваченный душным нетерпением и сиротливым чувством утраты, Иорам, натываясь на углы предметов, двинулся к выключателю. Свет кружевными кругами поплыл по комнате. Иорам возвратился к комоду, целиком вытянул ящик из сопротивляющихся пазов и водрузил его на тахту. Вот посеревший пакетик с пепельными ломкими волосами трехлетнего Иорама, а рядышком тот самый бабушкин чихтакопи с черной бархатной дужкой, с крупными сверкающими стекляшками «под бриллианты», пачка писем Иродиона с открыткой сверху: «Боевой новогодний привет с фронта всем родным и знакомым» — напечатано вверх открытки, чуть пониже — «Смерть немецким оккупантам», а между ними острым угловатым почерком брата — «Дорогие, любимые мои! Поздравляю вас с Новым 1942 годом, годом нашей победы! Рассеются, развеются тучи, и наша гордая Родина снова заживет мирной, счастливой жизнью. В этот день — думайте о нас, громящих проклятого врага. За нашу победу! Ваш Иродион». И тут же — извещение: «...про-

пал без вести». Вот семейная фотография, приклеенная к твердому пожелтевшему картону: мать с гладкими — пробор посередине — волосами сидит на стуле с высокой спинкой, на коленях ее Иорам в чулках, в черных (бархатных?) ^{штанцах} ~~штанах~~ ^{штанишках} ~~штанах~~, в белой рубашке с большим бантом, рядом с матерью стоит, вытянувшись, Иродион в школьном форменном костюмчике, а над всеми возвышается отец, опромный, с бородой «буланже», в тесной тужурке — правая рука заложена за борт тужурки, левая — тяжело на спинке стула. У всех напряженные, строгие лица, пуговичные глаза. 1931 год — год смерти отца, которого Иорам почти совсем не помнил — было ему тогда четыре года. Большая серебряная луковица отцовских часов с отскакивающей крышкой, а на ней — гравировка: «За доблестный труд. РионГЭС, 1928 год», обручальное кольцо матери — тяжелое, круглое — на внутренней стороне «1914» — год свадьбы отца с матерью, состоявшейся в день начала первой империалистической — отец прошел ее всю — вернулся с Георгием и осколком снаряда под левым соском... Талоны от денежных переводов, схваченные ботиночным шнурком, на лицевой стороне сумма в цифрах — на обороте круглым прыгающим иорамовым почерком: «Мамочка! Извини, что мало, в следующий раз вышло больше. Крепко целую, скоро приеду, твой Иорам». С каждым разом, действительно, суммы были все больше и больше — ассистент—доцент—профессор, но не приезжал долго... И наконец, четки, завернутые в плотный шелковый фамильный платок — багдадский — переходивший от женщины к женщине их рода — последней носила его по большим праздникам мать Иорама.

Иорам осторожно взял в руки четки, и янтарные бочоночки со стуком скользнули по просмоленной бечевке. Иорам перехватил бечевку посередине и неловко стал перебирать четки. Тепло, покой, умиротворенность сообщились напряженным, плотным иорамовым пальцам. Янтарь тускло поблескивал на неярком свете, в доме забился ровный наполненный пульс былых времен, и лица родных, живые, счастливые, молодые, оставив тесные рамки портретов, легко закружились в небыстром хороводе вокруг склоненной головы Иорама, мимо полуприкрытых полегчавшими веками затуманившихся его глаз. И «что-то надо решать» ненавязчиво, мягко встrepенулось в душе Иорама. Он крепко, как бы боясь выронить их из рук, сжал четки, широко открыл глаза и произнес вслух, едва слышно: «Что-то надо решать».

VI

И дни выстраивались за днями, прерывисто и однообразно дыша в затылок друг другу, и неотличимая их похожесть пугала и заораживала Иорама. В этом доме нужны были иные жесты, движения, труды. Время тихо и незаметно разъедало стены, трухлявило полы и стропила, осыпало влажно-грузной землей земляной же пол подвала, прихотливыми сетями паутины занавешивало все, что хоть сколько-нибудь походило на

угол. Половицы студенисто колыхались и скрипуче стелились под тяжелыми шагами Иорама. Но если даже никто не ступал по ним, тоскливый скрип не прекращался, и Иораму, ворочавшемуся ночами в жесткой непродавленной постели, вспоминалось, что половицы вспоминают и оживают чьи-то прошлые шаги, навсегда замолкшие в этом мире, но навечно впечатавшиеся в чуткую древесину. Требовались каждодневные, безоглядные усилия, чтобы укрепить, спасти, сохранить дом от судьбы, уготованной ему беспощадным полководцем времени. И Иорам выдвливал, выцарапывал из своего инертного, отвыкшего от физического напряжения, до сих пор жившего в другом ритме и измерении существа необходимую энергию. На первых порах это даже занимало его, отвлекая от едких мыслей, однако затем копившаяся с каждым днем мышечная усталость, тупая повторяемость усилий-близнецов довели его до отчаяния, до всепоглощающей апатии, и он оказался в томительной раздвоенности, когда категорическое «должен» в любовную сшибается с трусливым «не могу». Иорам стремился побороть эту свою расслабляющую раздвоенность и каждое новое утро принуждал себя рывком, с наскоку одолевать намеченные ночью рубежи. Он хватался то за молоток, то за малярный каток, но день, начатый с лихорадочной поспешностью, неотвратимо каплялся к вечеру, а дело так и не сдвигалось с мертвой точки.

Двери и окна, покрашенные Иорамом кокетливо-белой масляной краской в два потечных, неэкономных слоя, по-прежнему щеголяли всеми своими трещинами и выбоинами, потому что Иорам забыл их зашпаклевать; несколько новых половиц на балконе, настеленных Иорамом с превеликими трудами вместо прогнивших, тяжело осели, ибо балки под ними оказались трухлявыми и не выдержали их молодой тяжести. Иорам, надрываясь от натуги и с непомятым злорадством ощущая нестерпимую боль в пояснице, целых десять дней корзинами таскал сырую свинчатку обвалившейся земли из подвала и тихо ликовал, предвкушая конец своим трудам, но невесть откуда взявшаяся земля вновь погребла под собой шестилудсовые стеклянные штофы со старым вином, полые глиняные кувшины и скоротечную радость Иорама. Раствор, замешанный Иорамом для заделки упряжающего черного зияния в боковой стене дома, оказался с недопустимым избытком песка и, так и не сцепившись, не совместившись со старой кладкой, крупичато выкрошился из рваного отверстия.

Неудачные предприятия вконец поколебали и без того шаткую веру Иорама в свои силы, но и выбитый из седла, он упрямо не просил помощи у соседей и родственников, поначалу честно пытавшихся облегчить Иораму его труды и в силу этого вежливо и выкидательно отступившихся. Впрочем, дело здесь было совсем не в упрямстве Иорама и даже не в его чрезмерной гордости, а просто в том, что коль скоро ты вознамерился в корне изменить течение и лад своей жизни, нечего было ждать помощи извне, ибо помочь можно в работе и вообще в чем угодно, но не в расшатывании и ломке привычного существования. Новая, иная жизнь была где-то вдали, в неведомой стороне, и путь к ней, неторный, едва нащупывае-

мый, пролегал через терпение, силу духа и работу. Но терпение быстро истощалось, силы духа были на исходе, да и работа шла через пень-колоду. И все же главное было не Иорам был не вполне убежден, что нужно действовать так, как действует он, что нужно делать то, что делает он, и что, наконец, цель и действия, и дела его обретаются именно там, куда он идет. То, что все его начинания терпели крах, то, что дом не хотел принимать его трудов, отталкивал их, был несовместим с ними, лишний раз подводило Иорам к мысли о тщетности и несостоятельности задуманного им преобразования, пересоздания своего бытия, ибо ни внутренне, ни внешне он не был готов к этому. Ведь одной тяги к другому, к иному недостаточно, надо еще иметь нравственные, психологические ресурсы и предрасположения, жесткую решимость, основанную на знании, не отягченном сомнением, колебанием и трусостью. А всего этого как раз и недоставало Иораму, не было этого в нем, во всяком случае, тогда, когда он сделал свой шаг, продиктованный скорее страхом и отвращением к себе, нежели зрелым размышлением о будущем. Не возникло в нем это и теперь, хотя он начал понимать то, чего не умел, либо не хотел понять тогда, охваченный сумбурно-светливым стремлением уйти, убежать от неладности и бездарности своей жизни, чтобы очиститься, обновиться в отчем доме...

И вот уже здесь обнажилось, стало явным, что Иорам исподволь, незаметно даже для себя самого, стал отступником от того, на чем стояли его предки. И дом этот, старый, очень старый, помнящий жизнь всех его близких и его самого, мертвым укором стоит на этой земле, политой потом не одного поколения. И хочется закрыть глаза, избавиться от наваждения, от призраков прошлого, от укорсов совести и самого этого дома, который несовместим с его нынешней жизнью, который мучает его, ломает трудно, годами отлаженный быт и вообще все его бытие. Отдать, продать, вычеркнуть его из своего существования, убежать от всевидящих, не прощающих его глаз, укрыться, спрятаться пусть в неправедную, но уже привычную, притертую текучку непроточной своей жизни. Нет, не может и никогда уже не сможет он жить в этом доме, никогда уже не сможет он поддаться и подчиниться его уставу, его правилам, его, пусть доброму, духу. Все минуло, кануло в небытие, кончилось, и уже не удастся вогнать в некогда чугунные, а нынче ломкие, крошащиеся от времени формы. Сгинь, изыди, оставь меня, грешного... «Решайся же».

VII

— Воля твоя, сынок, но послушай и меня, старика, не торопись ты дом продавать. Конечно, дом без хозяина и не дом вовсе, но пока мы живы, не пожалеем труда, сохраним мы его тебе, а там посмотришь, и сам на пенсию выйдешь, да переселишься сюда. В городе старику несладко, внуки пойдут, привезешь их сюда, к земле поближе, силы наберутся, людьми станут, дом этот ведь старую закваску имеет, нельзя ей просто так пропадать. Негоже ветку рубить, на которой вырос,

жизненным соком налился. Когда твой дед строиться тут начал — вокруг только камень да мусор были. И домов-то было раз-два и обчелся — наш дом стоял и Нуциного отца, хибара. Люди селиться здесь не любили, труда надо было много — пропасть, чтобы место мало-мальски расчистить и землю — земли-то здесь и не было вовсе — родить заставить. Лишь бедолаги да пришлые на дело такое решались. А дед твой погорельцем стал, раньше ведь семья ваша в Вазисхеви жила, до пожара того проклятого. Поверишь, пожар был такой, отсюда видать было, как пламя языком небо вылизывает. Весь городок наш сбегался, а дома что спички горят, камни да бревна как из пращи мечут, домов сорок, никак не меньше, сгорело. Все, что люди годами наживали, в час один вчистую на нет сошло. Отец мой с дедом твоим в одной мастерской работали, медники они были, нет сейчас таких. Вся Имеретия, да и Мегрелия тоже, чтобы не сказать больше, в их котлах гоним варили, их утварью пользовались. Как пожар случился, отец мой деда твоего уговорил к нам перебраться, пока домом новым не обзаведется. А детей у деда твоего было четверо — двое уже ему в мастерской помогали, отец твой — мне ровесник — в гимназию поступать готовился (дед твой мечтал хоть одного образованного в доме иметь), а тетка твоя Ефросинья, хоть и меньшая в семье была, бабке твоей, ох, как по хозяйству помогала. Так вот, перебралась семья ваша к нам, в угловой комнате, там, где сейчас Софико живет, поселились — все вместе. Деду твоему по сердцу место наше пришлось, порешил он дом рядом поставить. Легко сказать — поставить, полгода, а то и больше ушло на то лишь, чтобы участок мало-мальски расчистить да мусор вывезти. Весь инструмент был: лом, кирка да лопата, и тачки еще об одном колесе. Работали до седьмого пота — дед и дядья твои великаны были, да и только — по десять пудов играючи на спину взвалят, и хоть бы что. Отец мой им помогал и товарищ ихний лудильщик Како. Но участок расчистить — полдела, а то и меньше. Землю на арбах привозили — весь месяц возили, а все мало, ведь здесь отродясь ничего не росло — на скале много не вырастишь. Кончили землю возить и ну дом ставить, благо камня здесь было — завались, успевай только тесать да ладить. Дело здесь уже скоро пошло, в три недели управились. Помню, перед тем как дом крыть — прямо под стропилами и открытым небом пир устроили — обычай такой есть, чтобы добрый дух в доме поселился. Дед твой Софром строился на века, весь свой род чаял в доме том выпестовать, да судьба, видать, иначе решила. Дядья твои Иродисн и Иорам в Галиции головы сложили — в честь них и нарекли вас с братом. Отец твой, правда, вернулся, но жизнь ему, горемыке, была не суждена — осколок под сердцем носил; не человек был — скала, а все едино перед железом и скала бессильна. Дато твой на него страсть как похож, только у отца твоего Давида кость пошире была... Так что ты погоди корень сушить — смотришь, вновь дерево зазеленеет.

— Голое дяди Ефрема, глуховатый, надтреснутый, и вся его речь, неторопливая, разбавляемая частым кашлем, паузами

укачивает Иорама, лишает его способности сопротивляться и даже говорить. Да и о чем говорить, а тем более спорить, когда все и так ясно: Иорама осуждают, не явно, но противятся его уже близкому решению и только из деликатности избегают его. И Иорам тушует, плотно укутывается в молчание, стремясь заглушить, утешить скулящую совесть, зов прошлого, такой отчетливый и громкий в этом доме, в этих людях, которые и живут, казалось, лишь для того, чтобы не дать остушиться Иораму, уберечь его от несправедливой жизни и отступнических решений...

Покупатель коренаст, большеголов, непоправимо толст. Его быстрые, обшаривающие глаза видят все, кроме Иорама, тяжелые его руки непрестанно щупают, мнут, гладят, ковыряют все, что можно щупать, мять, гладить и ковырять. Он не слушает пояснений Иорама и вообще не задает никаких вопросов. Короткие его ноги твердо ступают по жалобным половицам, оставляют квадратные вмятины на жухлом ковре августовской травы. Иорама он, видимо, презирает, ибо тот суетится, нервничает, торопливо бубнит что-то и мешая смотреть. Наконец досмотр закончен, и покупатель, ведомый понурым Иорамом, входит в залу.

— Вашему дому грош цена. Он даже на разборку негоден — рухлядь. Бульдозер — и поминай как звали. Мне нужно место, а дом я себе сам построю. Сколько? — исподлобья, по-бычьей глядя на Иорама, говорит покупатель.

И Иорам, подавленный этим напором, уверенностью и презрением, бессильно-тупо молчит. Но постепенно в нем наливается ярость, запоздалый протест, мутное, потное желание мести. И как он рад, что последнее слово за ним, что он волен наотмашь отказать, показать на дверь этому гнусному типу, вознамерившемуся унижить, уничтожить, сравнять с землей этот дом, самого Иорама, все, что ему еще дорого на этом свете. И кто дал этому чужаку право даже думать об этом варварстве — сколько? Как он посмел? Да, но это право было даровано ему самим Иорамом, ведь не продавай Иорам дома — не было бы здесь ни этого чудовища с наглыми руками и помыслами, ни грубого «сколько», жгучего, как пощечина. «Не надо притворяться, Иорам, никто не посягает на твой дом, кроме тебя самого. Он гораздо честнее тебя, этот человек, он знает, чего хочет, и называет это «что» своим именем. Чем лучше то, что ты замыслил, этого прямого и обнаженного «сколько»? Так что, нечего возмущаться и юродствовать, говори сколько — и делу конец».

— Вам я дома не продам, — сказал Иорам как можно тверже, оскорбительно акцентируя «вам».

— Да, но почему? — угрожающе осведомился покупатель.

— Я раздумал, — смалодушничал Иорам.

— Но ведь я вашу цену не отвергал. В чем же дело? — упрямо не желая сдаваться собеседник.

— Не в цене дело. Я дом на снос продавать не желаю, — нашелся Иорам.

— Но какое вам дело до того, что я сделаю с домом? Сговоримся о цене, а там уже моя забота, — вновь ринулся в атаку твердолобый клиент.

— Дом должен остаться цел — таково мое условие, — цена меня не волнует, — раздражаясь, отрезал Иорам.

— Да кому он нужен, ваш курятник-то? Не хотите продавать — так и скажите, незачем голову людям морочить. То же мне, условие, — взорвался покупатель и, яростно набившись, встал.

— Мне он нужен, мне, и условие мое твердо, ясно? А теперь извините, я занят, — этим выпадом и ограничилась месть Иорама.

— Вам? Так что же вы продаете, воздух, что ли? — искренне удивился покупатель, не привыкший, видно, к такого рода логике, и с ехидным любопытством поглядел на Иорама.

«Пусть считает меня идиотом, но побыстрее уматывает отсюда, не вышибать же его», — устало подумал Иорам, тяжело наступая на покупателя. А тот, уже всерьез обеспокоенный речью, а главное, видом Иорама, отступал к дверям.

— Мерзавец, — громко выхаркнул в пространство Иорам, когда дверь наконец закрылась, и было непонятно, кому адресовал он ругательство — настырному купцу или себе самому...

«Действительно, дичь — ставить покупателю условие. Зачем? Лазейка от укоров совести? Но какое дело до моей совести людям, собирающимся здесь обосноваться, почему, выкладывая кровные свои деньги, должны они считаться с моими сумасбродными желаниями? А может, оставить все как есть? Нет, невозможно. Я и дом одновременно существовать не можем. Или—или. Иначе жить просто нельзя. Я не хочу жить иначе, и дом тоже не хочет, просто не может он иначе. Или—или. Почему это я один должен все решать? А кто еще имеет на это право? Дато? При чем тут Дато? Ему всего этого не понять, просто не захочет он этого понять — и точка. Не по-мужски перекладывать решение на чужие плечи. Не по-мужски. А то, что я собираюсь сделать, по-мужски? Нет, хватит, хватит. Перестань юродствовать, слышишь, перестань... Пора кончать все это».

Иорам сидит на балконе в полной темноте. Нестройный, переменчивый, незлобивый собачий лай с двух сторон захлестывает двор. Луна ненавязчиво угадывается за неровной черной тучей с просветленными краями. Размытые тени деревьев, вольно сцепляясь и переходя друг в друга, заполняют сад. За спиной Иорама — дом, покорный своей судьбе, молчаливый, отданный во власть мраку. И сам Иорам — холодный, пустой, нездешний...

— Должен признаться, что дом ваш мне по душе. Не знаю, с чего я это взял, но мне кажется, что он похож, просто как две капли похож на наш дом, которого я не помню, никогда и не видел даже, но, поверите, у меня такое чувство, что я в своем доме.

— Незнакомцу лет под пятьдесят — почти ровесник Иорама. Он худ, тщедушен, на небольшом продолговатом лице —

«рупный чужой нос, руки — жилистые, с квадратными ногтями на коротких, словно обрубленных пальцах. Прочно переплетенные, они покоятся на остром худом колене с прозрачно свисающей широкой штаниной. Он говорит доверительно, громко, словно боится перетрутить горло. Иорам стоит перед ним, прислонясь к перилам балкона, и, не сводя глаз, пристально и тяжело глядит на собеседника, а тот, несколько этим не тяготясь, ровно смотрит на него снизу вверх, словно спрашивая о том, чего Иорам говорить не собирается. Иорам бесцветным, сухим голосом сообщает ему загодя заготовленные слова, грузно переминается с ноги на ногу и томительно ждет конца.

— Боюсь, что дом ваш мне не по карману. Он стоит, наверняка стоит больше того, что я могу за него предложить.

— Сколько? — машинально, грубо, вспомнив давешнего посетителя, спрашивает Иорам. И не дождавшись ответа собеседника, лихорадочно, торопливо, словно боясь его отказа, тут же добавляет: — Я согласен.

Незнакомец понимающе, несколько не удивляясь, глядит на Иорам, произносит, казалось бы, неуместное сейчас «спасибо», а потом «до завтра» и уходит, просто, легко, прямо...

Газетный пакетик, не выдержав беспорядочного напора своего содержимого, рвано разошелся. На столе — невысокая горка багрово-захватанных десятков, удушливо-сиреневых двадцатипятирублевых, а у ее подножия — прозрачная зелень пятидесятирублевых. Чуть в стороне — расхристанная кучка засаленных трещинок и пятерок. Иорам, не считая, брезгливо и облегченно смахнул деньги со стола прямо в портфель, одна пятерка неловко спланировала на пол. Иорам поднял ее и почему-то сунул в карман пиджака. «Вот и решилось», — отрешенно подумал он.

VIII

Дато, в короткой джинсовой куртке с тусклыми металлическими заклепками, в голубых джинсах с бледными, лоснящимися островками на коленях, тугих ягодичах и плотных бедрах, ласково, бережно до знобящего блеска натирает покаты бока машины цвета яичного желтка. Иорам, властно подавив мутный приступ малярии и сухо слизывая горечь хинина с потрескавшихся губ, грузно вдавился в мохнатое, звериное заднее сидение. Дато небрежно-деловито еще раз обошел машину, похлопал ладонью по капоту, осторожно приоткрыл дверцу и уселся за руль. Узкие его ладони твердо легли на мохнатый руль, обтянутая курткой спина, поерзав, прислонилась к попоне из деревянных планок, брошенной на спинку сидения. Он рывком сорвал машину с места, резко развернул ее, пулей вылетел из арки прямо на проспект, свернул на узкую, лениво сползающую с горбатого пригорка улицу и, наконец, выбрался на шоссе. Жирная асфальтная лента без натуги втянула легкую машину на свои плечи и понесла ее ловко, конвейерно, мощно. Справа, срываясь с места, неслись за маши-

ной наклонные тела деревьев с пунктирами листьев, потерявшие опору дома расплющивались о стремительный воздух, горбатые мачты электропередачи, как обезумевшие мустанги, пластались в бешеном аллюре. Спереди и сзади машина была зажата точно такими же, низко припавшими к потному лаку асфальта машинами, слева невидимая сила резко тянула дымную разноцветную гирлянду одинаковых автомобилей. Дато нажал на кнопку: жесткая, четкая дробь барабана, спрессованная с тягучей, неубывающей резиной гитары обрушилась на Иорама. Дато резко вывернул руль влево, вонзился в узкое, пульсирующее пространство между двумя сливающимися рядами машин и, на какое-то неуловимое мгновение, как бы провис в вакууме. Потом снова вильнул вправо и задышал в затылок новой машине. Литой локоть левой руки Дато лихо выставился из окна, правая рука покойно лежит на перекладине руля. Перед глазами Иорама мягко пружинит пушистый зверек с гибкой хребтиной — то ли кошка, то ли медвежонок, а за ним, поверх сверкающих спин машин, выгнувшись в бесконечность, летит дорога с ползущими, напозлающими друг на друга кубиками автомобилей. Багровый круг солнца с пронзительной белой полосой посередине парит в конце дороги, и машины, как бы вняв запрету, сворачивают на обочину, пропадают в дымной голубизне. Иорама обжигает огненный шар солнца, а слепящий кирпич перечеркивает зрачки. «Что-то надо решать?» — вяло вспоминает Иорам и дремотно откидывается на щекочущее затылок сидение.



ТБИЛИССКИЕ ЗАРИСОВКИ

ДЕТИ

Привычный шум тбилисского двора не отрывал меня от работы. Кого-то звали: «Тэмо! Тэмо!..». Играло пианино... Визжал поросенок... Волнами наплывали крики болельщиков дворовой футбольной команды. И снова зов: «Тэмо! Тэмо!».

Вдруг я заметила, что гулкие металлические удары, которые мне казались ударами молотка жестянщика, имеют четкий строй музыкального ритма. Выглянула из окна вниз: звуки настоящего доли, измененные двором и расстоянием, доносились от группы фигурок в углу двора. Одна из фигурок двигалась.

Танцор лет семи сначала как бы гулял небрежно по выбранной им для танца площадке, иногда перебирал ногами, не сходя с места, слегка двигал руками: на два шага — один взмах рук. Зрители, ребята всех возрастов, занимавшие ложу — крыши соседних гаражей, — были неподвижны.

Танцор время от времени прерывал себя, брал доли сам, поправляя музыканта, и, когда удары учащались, уже летал, белея рукавами. Десять минут танца. Пятнадцать. Силы не убывало. Или все, наконец?.. Нет, просто танцор утанцевал куда-то в сторону, отсюда не видно. Вот уже и вернулся. С небольшой гармонью. С маленькой девочкой в розовом платье, сестренкой, наверное.

Показал, как играть, — это у него тоже неплохо получилось — и опять пошел кружить... Ритм перемежался. Гармошка неумело всхлипывала. Но от окна невозможно было оторваться.

Желтый доли. Синий музыкант. Розовая сестренка. Белые крылья танцора. Буро-оранжевые листья осеннего дерева во дворе...

«Мишико-о-о!..» — раздалось с балкона верхнего этажа. «Тэмо! Тэмо!» — стало слышно вновь. Музыкант нехотя отложил доли, независимо шагнул в сторону балкона, по пути швырнув камешком в зрителей. Те издали воинственный клич. Представление окончено.

А танцор — уже не танцор, он — командир отряда, и отряд, размахивая саблями, мчится на врага...

Художник работал до тех пор, пока хватало дневного света в его мансарде, а после спускался по крутой лестнице и шел в ближайшую хинкальную. Там заказывал он блюдо, полное горячих хинкали, обжигая руки, хватал скользкие кусочки крутого теста, начиненные перченым мясом. Он ел, не ощущая вкуса, и жирные капли ползли по худым его пальцам.

Вокруг мраморных столиков шумно роились разгоряченные водкой компании. Если художник тоже заказывал немного водки, то тотчас пьянел — это была его первая еда за день. Потом он вновь взбирался под самую крышу и ложился спать в ногах у своего детища. Огромный, во всю стену, холст, желто-красный с белыми пятнами и во сне не отпускал его от себя. Трое крепких мужчин в свободных рубахах плясали, не уставая, весело давя виноград в деревянном чане.

Никто больше месяца не беспокоил художника, и он ни к кому не ходил. Это было как затянувшаяся желанная болезнь, которая проходит лишь с завершением работы.

Но вдруг все остановилось. Однажды он целый день бесцельно водил кистью в нижнем углу холста. Долгое одиночество, тишина ли мастерской стали сказываться?.. Захотелось бросить все. Показалась напрасной идея с этим огромным полотном, работа, которой не видно конца.

А друзья словно почувствовали. Они нагрянули без приглашения. Натачили вина, хлеба, лука, сыра, баранины. Стали резать, рубить и жарить. Сделав из подрамника стол оказалось проще, чем освобождать столы, заваленные рисунками. Сели. Заговорили, о родных, о друзьях. Ни слова — о своей, о его работе. Об автомобилях. О футболе. А художник — будто был тут и не был. Говорил с ними, а сам вслушивался в себя, словно вглядывался в свой неоконченный холст.

И вот уже темно стало в окне. И тбилисские огни рассыпались на черном. Кто-то завел нескончаемый тост. Кто-то, оборотив лицо в сторону хозяина, высоко-высоко запел «Мравалкамиэр». Остальные поддержали — зарокотали басами.

Глядя на загорелые лица поющих, на их крепкие руки, обнявшие плечи друг друга, художник думал, что завтра он, пожалуй, притушит желтый тон холста и свяжет в объятье три мужские фигуры на нем.

ДОМ С БАЛКОНОМ

Этот синий цвет и голубой... Откуда он берется?.. Мтацминда, что ли, разливает его в сумерки, спускает до черного, чтобы ночью мы любовались огнями города, утром спешили к его художникам и на их картинах опять увидели этот удивительный синий цвет?..

Картины назывались: «Дом Шамира», «Церковь Сурп-Геворк»... То было царство синего цвета. Такой увидишь, пожалуй, только из окон дома Кондахсазовых, что на Авлабаре, да и то лишь из окон второго этажа, вернее, мезонина, или так называемой мастерской. Здесь работает художник.

Взгляд черных глаз художника был рассеян, когда он ставлял в маленькой комнате все свои холсты, поворачивал их к свету и сидел, окруженный ими, отчужденный от них, жив на колени бездеятельные руки.

Несколько раз звавшая его к завтраку жена поднималась, наконец, по скрипучим ступеням и, не будучи замечена, в сердцах отчеканивала: «Что ты делаешь?». «Работаю», — вскидывал он на нее кроткие в этот миг глаза. «Ра-бо-та-ешь?..» — ее глаза метали зеленые, нет, синие — молнии.

Если он и спускался к столу, его уже не замечали, с ним не разговаривали. И очень кстати. Ибо родилась идея. Достойная самого Пиросмани...

С маляром хозяин договорился быстро. «Маленький балкон — десять рублей», — сказал мастер. Но он не знал хозяина... Берлинская лазурь — было совсем не то. Индиго — было не то. Синька — не совсем то...

В конце второй недели маляр, наконец, простился с заказчиком. В конце второй недели соседки в Метэхском переулке переговаривались, поджимая губы: «Сын Кондахсазовых что выдумал! В какой цвет балкон покрасил! Дом изуродовал! Цвет-то не модный! Так только в старину красили...».

Через месяц кто-то на Метэхском подъеме объяснял прохожему: «Поднимитесь. Прямо-прямо пойдете. Опять поднимитесь и свернете у дома с балконом... Красивый такой балкон, голубой... Отсюда видно...».

НАНА

— Тэмо!.. Тэмури!.. Теймураз!... — полным именем Нана называла мужа тогда, когда терпение истощалось. На сей раз ей надо было заставить его оторваться от телевизора и отвезти, наконец, к родителям теплый костюмчик для Датико. За ночь похолодало. А самой Нане нельзя было оставить все, что в кастрюлях и сковородах булькало, шипело и мело на всех четырех конфорках газовой плиты.

На субботу Теймураз позвал друзей. Не просто ввалился с ними шумной командой человек в пять, а пригласил в гости по поводу... Повод, в общем, всегда есть, пока не переведется вино дедушки Амбако, нежное вино из Патардзеули. За шесть лет замужества Нана привыкла видеть в доме множество людей. Но ссоры с мужем учащались: ребенок рос, нужны были и пианино, и велосипед, и все книги, какие выходили...

— Тэмур! Мальчик новую книгу почитать захочет... Взят?..

Наконец, хлопнула дверь. Ушел. Можно спокойно заняться баклажанами. Новый рецепт их готовки посоветовала сестра. Просто и вкусно. Гости съедают чуть ли не с посудой. Жареные кружочки разложить на блюде и залить майонезом. В майонез добавить хмели-сунели и толченый чеснок. Так. Три сковороды нажарила. Сейчас еще...

Что это? Уже и Тэмури вернулся?.. Не один...

— Здравствуй, Джемали! Тэнгиз! Что давно не был? Ой, какую щетину отрастил!.. Большое спасибо... Зачем беспокоился?.. Нет, Датико на Верийской...

Теперь скатерть — на стол — раз. Теперь тарелки протереть — на стол. Два. Вилки, ножи — три, четыре. Зелень, сулгуни, хлеб, ткемали... Пять, шесть, семь, восемь... Кухня, комната, комната — кухня... Лобио, цнили, салат, сациви... Десять, десять, одиннадцать, двенадцать...

— Тэмо! В синий, в синий кувшин наливай. И в тот, большой...

Так. Баклажаны вкусные получились. Кухня — комната. Комната — кухня.

— Тэмо! Зураб подъехал с Нугзаром и Вахтангом и еще с кем-то, не знаю...

— Здравствуйте, мальчики!. А вы... вы впервые в Тбилиси... Очень приятно... Проходите, пожалуйте...

Так. Все сели. Горячее через полчаса подавать можно. А пока достать запасные тарелки...

Кажется, стол хороший получился. Можно посидеть... Нет... Тэмури зовет. Ах, вот в чем дело — выпить хотят за хозяйку дома! Ей бокал полный наливают, подают. Тэмури, встал, и гость из Москвы — тоже, стул подвигает Нане, слушает внимательно речь тамады.

Нет. Ей это все надоело давно-давно. Сейчас глоток отпить — и тихонько выскользнуть из комнаты...

Но Тэмури еще говорит. Говорит по-русски, чтобы понял гость. Тост получается длинный и не очень складный. Нана тоже слушает, но не слышит. И думает, будто видит Тэмури впервые: «Какой он красивый». И, встречая его взгляд, опускает глаза.

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЕТ

Отико Багадзе — тбилисский мальчик. Ему десять. Его мама — актриса, папа — режиссер. Поэтому, кроме того, что Отико учится во французской школе, он играет на рояле, занимается пластикой, теннисом.... В общем, нагружен сверх меры.

С теннисом дела обстоят успешно, с пластикой — несколько хуже, а с музыкой — из рук вон плохо. Во французском иногда помогает дедушка. Дедушку тоже зовут Отар, вернее, это внука назвали в его честь. А старший Отар Багадзе — честь и слава грузинской музыкальной культуры — так, во всяком случае, говорят, если показывают дедушку по телевизору.

Когда я пришла в дом Багадзе и нас с Отико представили друг другу, он сказал, что очень рад со мной познакомиться, что много обо мне слышал. Пока родители в четыре руки накрывали на стол, Отико меня добросовестно развлекал. Он предложил мне кресло, в котором, как он выразился, мне будет удобней. Мне был показан зеленый муаровый альбом с мамиными фотографиями, после — огромная, в полстола, папка со снимками всех спектаклей отца и, наконец, альбом с коллекцией марок. Одна марка мне особенно понравилась. Она оказалась французской, с письма, присланного дедушкой с гастролей.

— Вы знаете, что было? — разговорился Отико. — Когда они возвращались, один француз в самолете спросил дедушку, выиграла ли советская команда. Парни в ансамбле поют крепкие, рослые — шоферы, рабочие из Рустави? — Вот француз и подумал... Грузинские народные песни полифонические, их поют «а капелла» — на много голосов и без сопровождения, — поправил себя Отико: вдруг я не поняла. — В ансамбле — семнадцать человек... Вот француз и подумал... А дедушка и ответил: да, мы выиграли! — Отико разгорячился и влез с ногами на диван. — Как будто он тренер! Представляете?

Я все это живо представила и тут же спросила Отико, кто лучше всех играет — не Муртаз ли Хурцилава?

— Конечно, Муртаз! — просиял Отико.

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Она позвонила. А когда отворилась дверь — опомниться не успела — Бежан уже стоял перед ней на коленях: «Мы ждем вас!».

«Весь в родителей, без театральных жестов не может», — с досадой и нежностью подумала она, целуя его в лоб. И тут же, в который раз, напомнила себе: Вахтанга нет.

— Мама! Тетя Нина!.. — Бежан помог ей снять плащ.

— Пришла, моя хорошая! Лучше сердцу? — Софико вышла в переднюю величавой походкой, как ходила на сцене.

Из комнаты следом никто не вышел, не раздалось ни возгласов, ни звона бокалов, как бывало...

Вахтанга нет. Друзей его — тоже. Будто и они умерли... Вслух она спросила: — Ну, как спектакль?

— Успех! Бешеный! Полчаса не отпускали, — опередил Софико сын.

Комната заставлена цветами — корзинами с розами и гвоздиками. Но все заслоняли огромные белые с длинными, как бы сведенными судорогой, пальцами-лепестками хризантемы. Навстречу поднялись трое юношей: Нина с трудом узнала товарищей Бежана — светлоглазого Мераба, толстого Важико, стеснительного Бидзину. А ведь со дня похорон прошел только год...

— Виски? Джин? Шампанское? — Бежан наливал цигандала, явно копируя голосом кого-то из актеров.

Софико усадила подругу в высокое кресло, а сама поверх черного платья зябко завернулась в свой любимый атласный халат. Белый шелк подчеркивал впавшие глазницы и щеки, худые руки.

«Белое ее старит... Зачем она? Надо сказать, — заметила себе Нина. — Ей теперь совсем не идет белое...».

— Да здравствует моя мамочка! — очень весело воскликнул Бежан. — Ее талант, красота и молодость!..



Николай Тихонов

СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

Мне вспоминается зажатый в смертельные клещи блокады, изувеченный и изуродованный жестокими наступлениями фашистских орд, нескончаемыми авиационными налетами и артиллерийскими обстрелами, истощенный голодом, измученный холодом, безводьем, отсутствием электричества, но все же несломленный и непокоренный, гордый Ленинград.

Не забыть и того, как мы, засевшие в окопах бойцы и офицеры, с нетерпением по утрам ждали «Ленинградскую правду», выходящую тогда уменьшенным форматом, и газету Ленинградского фронта «На страже Родины». Ждали не только потому, что черпали из них «последние известия», — в них систематически печатались поистине прекрасные рассказы и очерки о Ленинграде уже тогда широко известного ленинградского писателя Николая Тихонова. Это были произведения, обладающие какой-то чудодейственной силой, — о героических защитниках Ленинграда, их высоком духе и непоколебимости, о нашем фронтовом «быте». В ту пору в Ленинграде фронт был повсюду и фронтовиком тоже был каждый — где бы он ни находился: в «тылу» или на передовой.

Много лет прошло с той поры. И много раз у меня тянулась рука к сочинениям Н. Тихонова того времени, чтобы снова ощутить те потрясающие переживания, но я намеренно не позволял себе возвращаться к ним: мне хотелось сохранить нетронутыми те чувства и первозданной ту неповторимую радость и глубокое потрясение, которые испытал я при первом их прочтении.

И сейчас я еще совершенно отчетливо помню серию тихоновских корреспонденций «Ленинград в мае», «Ленинград в июне», а также и в последующие месяцы того ужасного, самого тяжелого и мучительного 1942 года. В ту пору ленинградцы нуждались не менее, чем в хлебе насущном, в ободрении, теплой поддержке, любви, и именно всем этим и «обеспечивал» нас тогда Николай Тихонов.

С великолепными циклами стихов Н. Тихонова «Орда» и «Брага» (1920 — 1922), сборником «Стихи о Кахетии» (1935) я был знаком и раньше, но впервые красоту души, художественную силу и обаяние человеческого слова, исходящего от этого огромного поэта, я ощутил именно там, на Ленинградском фронте. Его сочинения блокадного времени, поэма «Киров с нами» (1941) и книга стихов «Огненный год» (1942) позволили не только лучше узнать поэта, осмыслить все, что им сделано, но и дали возможность предсказать большое его будущее, пробуди-

ли в каждом честном человеке страстное желание, подобное и ро-
дившемуся во мне предчувствию, — видеть в Н. Тихонове того,
кем он и стал в действительности: подлинным знаменосцем совет-
ской литературы, ее признанным лидером, тем художником и
гражданином, с которым в этом единении двух начал — общест-
венной деятельности и творческой работы никто не мог срав-
ниться.

И я убежден, что теми невероятными высотами, взятыми в период обороны защитниками Ленинграда, мы в немалой степе-
ни обязаны произведениям Н. Тихонова. Как можно забыть его «Ленинградские рассказы», в которых писатель с удивительной убедительностью обрисовал новые духовные черты своих современников. Герои его рассказов — это не только бойцы, это ленинградские женщины, дети, юноши, старики, инвалиды, это своеобразный «гарнизон» героического города - крепости. А разве можно забыть маленькие рассказы и очерки Н. Тихонова, которые печатались не только в ленинградской, но и в центральной прессе! Я и сейчас помню его статьи об известном полковнике Краснове, солдате Сосновском, собственным телом закрывшем вражескую амбразуру, о смелых летчиках, о чести и достоинстве советского офицера, о героических рядовых бойцах и многие другие.

Помню, как, находясь в кольце блокады, я со страхом и трепетом встречал каждую новую весть о боях, развернувшихся на подступах к Кавказу, и именно в эти тревожные дни я прочитал опубликованную в ленинградской газете полную патриотического чувства и веры в победу статью Н. Тихонова «Величие Кавказиони».

В тот день я был в каком-то опьянении. Пронизывающая душу огнем статья поэта, ее призывный голос и патриотический накал внушили и необычайное волнение, и глубокую уверенность в том, что героические народы Кавказа достойно встретят подступившие вражеские орды и обратят их в бегство.

В произведениях Н. Тихонова, его статьях того времени была представлена вся наша страна, звучали голоса всех народов: грузина Диасамидзе, армянина Джанояна, узбека Адилова и многих других. Но, конечно, самым впечатляющим был образ многострадального Ленинграда. Этот израненный и изуродованный город предстал из-под волшебного пера писателя в таком поэтическом обрамлении, был окутан такой сыновней любовью и обрисован с такой колоритной правдивостью, что воспринимался как прекраснейшее живописное полотно. Даже незначительные, казалось бы, факты из повседневной жизни города, внешне незатейливые сюжеты и истории благодаря высокому таланту писателя приобретали огромнейшую силу эстетического воздействия, превращались в бурную лавину чувств, наполнявших страстями душу.

Прошло пятнадцать лет после грозного 1942-го, и мне неожиданно представился счастливый случай лично познакомиться с любимым поэтом. Я бесконечно благодарен за это двум замечательным грузинским поэтам — Сандро Шаншиашвили и Георгию Леонидзе, — сердечность которых в отношении меня и сейчас преисполняет мою душу признательностью. Последовали бесчисленные встречи — то за письменным столом, то в веселом за-

столье, то в солнечном Джугаани у Шаншиашвили, то на перedelкинской даче Тихонова, а то и у Георгия Леонидзе, в Цхнети — кто в состоянии сосчитать, сколько было этих встреч! И писем его у меня накопилось достаточно много — больше двух десятков. Но главное то, что постоянно — в беседе ли, в произведении, в личных письмах — меня всегда поражала и покоряла искренняя, поистине благоговейная любовь этого изумительного человека к Грузии, ее народу и истории, ее сегодняшнему дню и духовному бытию, ее природе и литературе.

Я не знаю, есть ли еще кто-либо, не принадлежащий к грузинскому племени, кто с такой самозабвенностью любил бы нашу страну, как любил Тихонов. Я не знаю, много ли найдется среди грузин таких, кто бы так хорошо знал все уголки Грузии, ее города и села, как знал их Н. Тихонов. Меня всегда изумляло его знание географии Грузии, ее дорог и перекрестков, перевалов и даже тропок. Будь то Сванетия или Рача-Лечхуми, Тушетия, Пшавия или Хевсуретия, Хеви или Мтиулету, Карталиния, Кахетия, Имеретия или Мегрелия, Гурия, Абхазия или Аджария — он легко называл их и так прекрасно знал, что, казалось, все это размещалось на его ладони. Он не только знал — его сердце тянулось туда, как к своему родному краю.

Не однажды довелось мне слышать в Джугаани или в Цхнети его тосты-исповеди, обращенные к его побратимам Гогле и Сандро, и каждый раз я воспринимал их как возвышенный гимн, как клятву вечной любви к Грузии. И он остался навеки верным этой принесенной однажды клятве...

Н. Тихонов много раз говорил: я счастлив, что Грузия любит меня, и это отзвук векового братства русских и грузин. Да, воистину так! В сердце каждого из нас, каждого истинного грузина немеркнущим светом будет гореть память об этом выдающемся деятеле и художнике, который так нерасторжимо связан с грузинским народом и его замечательной культурой.

Марк ЗЛАТКИН

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

Острой болью отозвалась в сердце скорбная весть: перестало биться сердце пламенного патриота нашей великой Родины Николая Семеновича Тихонова.

Ушел из жизни человек, так много сделавший для многонациональной советской литературы, чей могучий талант и поэтическое вдохновение безотказно служили делу перевода на русский язык поэзии братских народов, и в частности грузинской поэзии. Мучительно больно говорить о Н. Тихонове в прошедшем времени, а факты столь недавнего общения превращать в страницы воспоминаний.

В 1978 году в издательстве «Мерани» вышел двухтомник произведений Н. Тихонова, который явился как бы итогом многолетних и многосторонних связей Н. С. Тихонова с Грузией.

Это издание составлялось изо дня в день на протяжении многих десятилетий, начав складываться еще в 1924 году, когда состоялось первое знакомство поэта с Грузией. Помните, он писал в автобиографии, что в 1924 году впервые увидел Грузию и Армению, был в Земо-Авчала, где тогда широко развернулось строительство первой плотины на Куре и где «кончалась вековая отсталость этого древнего места»¹.

И вот с тех пор прошло более пятидесяти лет... Посылая в декабре 1971 года Николаю Семеновичу Тихонову телеграмму с поздравлением в связи с его семидесятилетием, я упомянул, что дружба его с Грузией имеет полувековую историю и что все мы всегда рады новым книгам, рады встречам с его новыми рукописями.

Не случайно я заговорил о новых рукописях Тихонова. Еще до его юбилейной даты, на бараташвилевских торжествах у нас в Тбилиси, мы впервые поставили перед Н. С. Тихоновым вопрос об издании однотомника его произведений о Грузии.

По этому поводу в августе 1970 года я написал Николаю Семеновичу письмо, в котором говорил о назревшей необходимости подытожить его многолетний подвижнический труд. «...Речь идет об издании Ваших поэтических произведений, рассказов, очерков, статей, докладов, речей и высказываний о Грузии, — писал я ему. — Не буду их перечислять, они так хорошо знакомы нам, а тем более Вам как автору, но если понадобится наша «подсказка» в виде помощи в подборе материала, то мы охотно включимся в эту работу. Главное, чтобы Вы все это просмотрели и дали каждому произведению путевку в новое издание. Я себе хорошо представляю, как прекрасно оно будет выглядеть и какое большое впечатление произведет на читателя, на нашу общественность своей тематической цельностью.

Не откладывайте в этот раз, Николай Семенович, подготовку однотомника, ведь время бежит стремительно, и мы с Вами понемногу стареем...

...Очень жаль, что нет с нами неповторимого Гоглы Леонидзе. Тяжела для всех нас эта утрата! Он был бы душой этого издания и предварил бы книгу своим словом. Но что поделаешь. Во всяком случае, мы найдем достойного в этом отношении преемника, который выскажет в своем предисловии все, что чувствует и думает о Вас грузинский народ.

Буду ждать от Вас скорого ответа и практических шагов.

Всего Вам доброго, дорогой Николай Семенович!».

На это письмо Николай Семенович ответил:

¹ «Советские писатели, автобиографии», т. 2, М., 1959, с. 429.

«28 сентября 1970 г.

Дорогой Марк Израилевич!

Должен покаяться перед Вами. Даже принести кие извинения за то, что так задержал ответ на Ваше сское письмо. Должен Вам сказать, что виной разные обстоятельства, в том числе и не очень важное состояние здоровья, и отпуск, и различные дела, которыми так богата жизнь старого человека в наше время. С годами-то ведь не считаются.

Спасибо Вам за добрые слова, которые я прочитал о себе и о моем творчестве в Вашем письме. Теперь об однотомике. Видите ли, кончив азиатскую тему, выпустив итоговую книгу — «Шесть колонн», я переключился на тему Кавказа. Хочется мне тоже сказать какое-то мое слово о Кавказе. Это не значит, что я соберу все мной написанное на эту мою любимую тему и заключу в один переплет. Нет, в эту совсем новую книгу из старого может что-нибудь одиночное войти, но не больше. Но, конечно, среди тем этой книги, книги тоже только художественной, не очерковой, должна войти и грузинская тема.

Вот почему мне кажется, что следует подождать с однотомиком и, собрав то, что есть, подождать новых рассказов на грузинскую тему. То есть сдать книгу не в этом, а в будущем году. Конечно, для однотомика материала хватит. Но хотелось бы добавить в него кое-что новое, помимо уже имеющегося.

Вот такое мое предложение. Как Вы к нему отнесетесь. В основном я буду трудиться над кавказской книгой, где будут и разные времена, и разные люди, и горы, и многое другое.

Буду рад получить от Вас ответ и Ваши соображения! Благодарный сердечно за дружбу и заботу!

Желаю Вам всего самого лучшего!

Н. Тихонов».

Шло время. 16 августа 1976 года Николай Семенович прислал письмо:

«Дорогой Марк Израилевич!

Приветствую Вас сердечно и сообщаю Вам, что я собрал свой двухтомник «Избранное», о чем Вас уведомляю.

«Избранное» включает все мои стихи, переводы и прозу о Грузии. В первый том входят мои старые и новые стихи разных лет о Грузии, других стихов там нет на другие темы. Это составляет около 2.000 строк оригинальных стихов и около 4.000 строк переводных...

Во второй том входят мои повести, рассказы, очерки о Грузии и статьи о старых и современных грузинских писателях и поэтах. Это около 16 печатных листов...

С понедельника 16 августа я начинаю отправлять рукописи заказными бандеролями на адрес Союза писателей, товарищу Приголу Абашидзе, в двух экземплярах каждый том, как полагается.

Я предупредил «Избранное» своим вступительным словом, адресованным грузинскому читателю, — «Вместо предисловия».

Жду от Вас письма о получении рукописей и о Ваших соображениях касательно самого издания — можно ли издать в таком виде или требуется подсократить? Что именно?

Шлю лучшие пожелания здоровья, хорошего отдыха и новой энергии для творческой работы!

Горячий привет тбилиским друзьям!
Сердечно, с глубоким уважением

Николай Тихонов.

Получив первый том своего «Избранного», Николай Семенович написал:

«10 мая 1978 г.

Дорогой Марк Израилевич!

Сердечно благодарю Вас за Ваше дружеское письмо и за добрые слова, высказанные Вами.

С большой радостью я взял в руки присланный Вами первый том моего собрания, включающий стихи о Грузии и переводы грузинских поэтов. Он издан с великолепной тщательностью, с любовным вниманием и производит прекрасное впечатление своим видом. Я узнаю Ваше дружеское отношение к этому изданию и выражаю самую глубокую признательность и благодарность за Ваши труды. Надеюсь, что и второй том — прозы будет подобен выпущенному.

Я долго ждал этого издания и теперь вижу, что ждал не напрасно. На мою старую любовь к нашей прекрасной Грузии Вы ответили от всего сердца этим изданием.

Прошу передать мои лучшие пожелания моим друзьям — Григолу Абашидзе и Карло Каладзе.

С самым сердечным приветом

Николай Тихонов.

Николай Семенович успел получить и второй том, повторив через друзей свою благодарность за это издание.

Кончина Николая Семеновича Тихонова — пламенного патриота нашей Родины, классика советской литературы — явилась тяжелой утратой для всей многонациональной советской литературы, но его «старая любовь к нашей прекрасной Грузии» вовеки неизбывна и наполняет души тем светом, имя которому — великая дружба.

...И этот свет все рос и рос,
Был радугой украшен,
От сердца к сердцу строя мост
Великой дружбы нашей.

Публикуя в этом номере обзорную статью Г. Мерквиладзе, редакция не только знакомит своего читателя с наиболее значительными образцами современной грузинской романистики, определяющими основные вехи, тенденции, характерные черты, динамику ее развития за последние два десятилетия с теми изменениями, которые она претерпела за обозреваемый период. Мы надеемся также, что содержащийся в статье общий взгляд на состояние данного жанра в рамках грузинской литературы послужит как бы информацией к размышлению, поможет лучше сориентироваться в этом ее одном из важнейших по всем параметрам звеньев.

Такая подготовка нужна нам для того, чтобы, имея соответствующий «плацдарм», начать большую дискуссию на материале современной грузинской прозы с привлечением наряду с грузинскими литераторами самого широкого круга литераторов из всех братских республик нашей страны.

Думается, сегодняшний день грузинской прозы предоставит им достаточную возможность для такого обмена мнениями.

Мы приглашаем принять участие в этом обсуждении не только писателей, литературных критиков, но и читателей, всех тех, кого по-настоящему волнуют, интересуют, заботят судьбы нашей многонациональной советской литературы, одной из органических составных частей которой является и наша художественная проза. Намереваясь придать этому разговору всесоюзный резонанс, «Литературная Грузия» руководствуется стремлением в дальнейшем развивать интернациональные связи грузинской литературы, приобщаться к проблемам самого широкого диапазона, значения и наполнения.

Георгий МЕРКВИЛАДЗЕ

ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО ГРУЗИНСКОГО РОМАНА

1. ЗА СОЦИАЛЬНО АКТИВНОГО ГЕРОЯ

В течение последних двух десятилетий грузинский роман претерпел очевидные изменения. Понятно, что, говоря о них, мы не должны упускать из виду новые формы развития всего современного советского романа, общий процесс поисков его новых жанровых возможностей и тематического многообразия, те закономерности, которые объединяют современный русский

или украинский роман, романы республик Прибалтики или Средней Азии.

Это — с одной стороны. С другой же, необходимо осмысление современного романа как новой ступени единства художественно-эстетического процесса в каждом отдельно взятом национальном романе, в данном же случае — в романистике грузинской.

Сдвиги в нашей общественно-политической жизни, начиная с пятидесятых годов, оказали большое влияние на литературный процесс в целом. Обновление это, естественно, сравнительно поздно коснулось жанра эпического, в частности, грузинского романа, который именно теперь испытывает подъем и расцвет. Этот подъем обусловлен обостренным интересом к актуальным проблемам, новым их эстетическим осмыслением, новой диалектикой романа, отразившей дальнейшее развитие традиций советского романа вообще.

В современном грузинском романе нашли своеобразное выражение и развитие традиции национального романа, утвержденные в 20 — 30-х годах такими мастерами, как В. Барнов, К. Гамсахурдиа, М. Джавахишвили, Н. Лордкипанидзе, Л. Ииачели, Д. Шенгелая, С. Клдншвили, Ш. Дадиани, К. Лордкипанидзе, и другие, причем традиции эти сочетаются с новыми тенденциями, привнесенными новым поколением романистов.

* * *

Для современного романа, как и любого романа, особо характерно стремление к раскрытию духовного мира и состояния души **нового героя** — питомца современных, злободневных обстоятельств данной эпохи, к художественному анализу и постижению его сложной психики.

Герой этот по духовному складу и кругу идей является непосредственным преемником своих ближайших «предков», продолжателем их дел и начинаний. Разумеется, он всегда был достаточно сложным духовным феноменом, но новые обстоятельства, новая общественная ситуация, что ли, обусловили еще более сложную его психологическую организацию.

Многосложен сам процесс становления и утверждения этого героя, ибо неизмеримо сложнее стал вокруг него весь материальный и духовный мир. Если перед так называемым положительным героем целого ряда известнейших романов тридцатых годов прямо стоял вопрос о решительном отрицании одного пласта окружающей его действительности и о столь же решительном принятии и утверждении иных пластов жизни, для сегодняшнего героя эта проблема относительно осложнена, она не стоит перед ним с прежней прямолинейностью, и суть ее обуславливает иная классово-политическая структура нашего общества. Исходя из этого, гораздо сложнее и многостороннее выглядит и гуманистическая концепция романа; она обогащена теперь новыми психологическими нюансами.

С особой остротой встала связанная с этой же проблемой задача воплощения в грузинском романе судьбы современно-го молодого человека.

Молодой человек всегда был одним из главных героев и так сказать, одной из движущих сил литературы. (Вспомним к примеру, какое значение придавал А. М. Горький издаваемой по его инициативе замечательной серии романов «История молодого человека XIX столетия»). Таковой осталась его роль и в сегодняшнем романе. Но проблема его воплощения предстала ныне и в ряде новых аспектов. Сейчас это во многом проблема смены поколений, взаимоотношения отцов и детей, отношения к традициям, утвержденным отцами, проблема поисков новых путей и тропинок в жизни.

Самую большую сложность и трудность в процессе обрисовки образа современного молодого человека представляют поиски его роли, функции, жизненной задачи. Сутью жизнедеятельности такого героя, смыслом самого процесса активизации его души является пафос утверждения, что, в свою очередь, подразумевает отрицание чего-то, переоценку тех или иных ценностей. И если, соответственно, не найдены и не выработаны верные и четкие критерии, оказывается сдвинутой сама реальная перспектива, нарушена объективная истина.

Проблема современного человека, его высокого призвания и общественного предназначения воплотилась в новом грузинском романе не только как необходимостью, продиктованная новыми, актуальными задачами и потребностями дня, но и как эстетическое отношение к действительности. «Волшебный камень» К. Лордкипанидзе (вторая книга), «Корнали» Г. Абашидзе, «Седьмое небо» и «Камень чистой воды» Г. Панджикидзе, «Я вижу солнце» и «Солнечная ночь» Н. Думбадзе, «Золотая рыбка» А. Сулакаури, «Кабахи» Л. Мрелашвили, «Новый горизонт» Л. Авалиани, «Квернаки» и «В гору и под гору» О. Чхеидзе, «Зеленая ветвь» А. Каландадзе, «Жила-была женщина» О. Иоселиани, «Тутарчела» и «Зеснахе» Н. Цулейскири, «Вот и зима минула» и «Бассейн» Т. Чиладзе, «Шапка, сброшенная в небо» Э. Кипиани, «И каждый, кто встретится со мной» О. Чиладзе, «Грешник» Г. Гегешидзе, «По городу ступают динозавры» Р. Чейшвили, «Преображение» И. Урджумелашвили, «Самоубийцы» О. Чиджавадзе и другие романы привлекли внимание именно остротой постановки сложных проблем современной жизни и заострением ее социально-психологических аспектов, постижением новых глубин действительности.

В этих весьма разных и несхожих по стилю и манере романах стала приметной тенденция разоблачения негативных явлений и преимущественный интерес к судьбе так называемого «рядового» человека; жизнь предстает в них не только как результат достигнутого и постигнутого, но и как сам процесс достижений и постижений, более того, процесс непрерывных поисков, которые отнюдь не всегда идут по восходящей линии.

Таким образом, галерея героев современного романа стала куда более многообразной. Здесь вы встретитесь и с людьми высокой морали и чистой души, но также и с их антиподами; с активными, охваченными жаждой поисков персонажами, и с инертными, пассивными, сбившимися с пути и ра-

стеревшимися индивидуумами; перед вами предстанут и такие сложные, а то и противоречивые личности, которые одновременно подвержены воздействию как положительных, так и отрицательных начал, и герои сильной, твердой воли, действия которых подчинены какой-либо единой цели; погрязшие в омуте перерождения горе-руководители и вожаки масс нового типа. И все они отражают, выражают собой определенные явные или подслудные тенденции развития современного общественного бытия.

Популярность романов Нодара Думбадзе как раз и вызвана своеобразным живым, образным осмыслением в них острейших проблем современности, склонностью к четкой постановке и оригинальному их решению.

Первую большую вещь романиста «Я, бабушка, Илико и Илларион» следует рассматривать как некую «подготовительную» ступень, вслед за которой должно было наступить более углубленное образно-художественное видение. Именно вслед за этой повестью были созданы романы — «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Не бойся, мама», «Белые флаги», в которых получили своеобразное решение проблемы и темы, связанные с положением и назначением человека, соотношением реалистических и романтических начал в быту, гармоническим развитием и дисгармоническими противоречиями души, т. е. проблемы гуманизма.

Главные, ведущие герои романов Нодара Думбадзе — молодые люди неиспорченной, чистой души, рано возмужавшие в условиях испытаний и сложных противоречий, подстерегавших их в начале же жизненного пути. В этих испытаниях и трудностях, в преодолении препятствий формируются характеры его героев — Зурикелы Вашаломидзе и Сосои Мамаладзе, Хатии и Темо Барамидзе, Авто Джакели и Зазы Накашидзе. Суровые жизненные испытания оказались для них теми условиями, которые породили в их душах великое добро и человеколюбие.

Человеческая доброта для Нодара Думбадзе, в первую очередь, равнозначна осознанному гуманизму. Поэтому его «положительные» герои и действуют, исходя не из чувства возмездия жестокосердию людей, а из стремления максимально проявить добрую волю, из добросердечия, обретенного в поисках большой правды.

Его молодые герои не нуждаются в духовном очищении: они сами являются носителями этой чистоты, как первейшего средства утверждения в мире добра. Эти герои, по сути дела, увиденные по-новому, люди сильной воли. Сильная воля в них — глубоко скрытое и, вместе с тем, как бы самопроизвольно возникающее и, в свою очередь, движущее начало и свойство. И проявляется она в действиях героев исподволь, глубоко, затаенно, не бросаясь в глаза.

Противостояние доброй воли злу, как правило, не приобретает в романах Нодара Думбадзе форм трагедии, хотя в них всегда присутствует трагедийное начало, трагедийная потенция. Добрая воля здесь проявляется как жизнеутверждающая общественная тенденция, как сила необратимая, весьма слож-

ная по своему характеру, но все же жизненно необходимая, перспективная, что ли, как закономерность.

Потому и возвращается к герою «Солнечной ночи» утраченная было радость; потому и восстает герой романа «Не бойся, мама» против носителей чуждой ему морали, а в «Белых флагах» поиски истины и справедливости возвышают человека, поднимают его на недостижимую высоту, потому-то ни тяготы военного времени, ни личные невзгоды и беды не сокрушают воли молодых людей в романе «Я вижу солнце», героиня которого гордо и радостно может обратиться к своему народу со словами: «Я вижу вас!». В этом восторженном восклицании раскрывается величие самой духовной обстановки, духовной среды, в которой торжествует добрая воля.

И хотя молодые герои названных романов часто очень схожи, что объясняется и частичной автобиографичностью этих образов, все же сила их воздействия велика благодаря именно этому свойству — изображению самобытных по характеру людей доброй воли как людей сильной воли. Сила добра и сила воли тут суть едины.

Романы Н. Думбадзе примечательны и тем, что в них постепенно и последовательно нарастает и усиливается критический пафос в зависимости от отклика и состояний, которые порождены в героях негативными явлениями жизни. Этот пафос с особой силой сказался в «Белых флагах» и «Не бойся, мама». Несмотря на наличие некоторых элементов бытового или речевого натурализма, в этих романах более явно и резко обнажены пороки и недостатки, имевшие место в жизни республики на протяжении ряда лет. Пафос утверждения получил здесь видоизмененную форму: в отличие от предыдущих романов здесь он проявился как логический результат и естественный итог отрицания.

И вообще, следует подчеркнуть и выделить именно таким образом и в этом плане проявившийся критицизм в современном грузинском романе. В частности, эту линию проводят и эту тенденцию воплощают такие образцы грузинской романистики, как романы Э. Кипиани, А. Сулакаури, Т. Чиладзе, Г. Панджикидзе, А. Каландадзе, Л. Мрелашвили, Э. Майсурадзе, И. Урджумелашвили и других.

Этот критический пафос исходит из продиктованного методом социалистического реализма принципа правдивого восприятия и отражения негативных явлений, показа их истинной сути, тенденции их развития и полной, в этом смысле, бесперспективности; принцип этот целиком подвластен методу социалистического реализма и отнюдь не является каким-то новым литературным направлением, как это еще недавно кое-кому представлялось.

С этой точки зрения, определенный интерес представляют в грузинской романистике «Седьмое небо» и «Камень чистой воды» Гурама Панджикидзе, где дается новое решение общественных конфликтов. Бросается в глаза сложность характера главного героя «Седьмого неба». Леван Хидашели как бы предвосхищает в послевоенной советской литературе образ Чешкова. Он выглядит сильной личностью, восставшей против

мещанства и инертности, пошлости и самодовольства. Он способен, по-видимому, поступиться высокими принципами, изменить этим принципам. С первого взгляда этот молодой бунтарь-металлург все свои интересы и энергию подчиняет общественным задачам. Но, в конце концов, все эти качества приобретают черты карьеризма и то, что должно было возвысить его, становится причиной его гибели.

По строю своей души Леван Хидашели был новым героем для грузинской романистики: как будто пришел в грузинскую литературу целеустремленный волевой юноша, действия которого по всем внешним признакам подчинялись высокой морали и утверждали собою активное начало. Но исподволь, как бы имманентно, возможно, даже невольно, он оказывается в плену совершенно иных настроений.

Что это, раздвоение души?

Нет! Леван Хидашели сын своего времени, «продукт» настроений этого времени; он отражает и свет, и тень своей эпохи — настолько сложен и оригинален его характер.

Разумеется, авторская концепция здесь расшифрована не до конца, как мы к этому привыкли в традиционных реалистических романах, и многое художник доверяет активности читательского восприятия, однако главная проблема — проблема взаимоотношений коллектива и волевого героя — в романе поставлена со всей остротой.

Гораздо яснее авторская концепция во втором, довольно нашумевшем романе — «Камень чистой воды». Правда, это стремление к большей ясности приводит его иногда к голлой публицистичности. Главный пафос романа — беспощадное разоблачение духовного падения и моральной деградации людей определенного круга. Здесь большей степени обобщения достигает показ отрицательного влияния на человеческую психику негативных явлений, имевших в недавнем прошлом место в жизни республики; отрицательные персонажи романа — жадные стяжатели, поведение которых опирается на мещанскую, чуждую советскому человеку мораль. Высоким общественным принципам противостоит частнособственническая психология. Дошедшая по цинизму эгоистическая натура обывателя, озабоченного лишь личным благополучием, показана в романе как разнузданная антимораль, как общественное зло. Процесс духовной эрозии здесь обнажен во всей своей жестокой и опасной сути. Очень сильно показаны контрасты. Друг другу противостоят психологические и интеллектуальные типы, нормы поведения и принципы жизненной морали которых несовместимы.

И во втором своем романе Г. Панджикидзе рисует человека сильной воли. Его Тамаз Яшвили противостоит подонкам общества, разнузданным махинаторам, безнравственным мещанам. В самом этом противопоставлении четко видна авторская позиция. Тамаз Яшвили человек уже совершенно иного склада и иной среды. Внутренняя противоречивость, столь свойственная Левану Хидашели, здесь полностью снята. Таким образом, стремление автора изобразить волевого человека нашего времени, человека положительного, с его непреклонной прин-

ципиальностью, непримиримым бунтарством и в то же время с весьма сложным внутренним духовным миром здесь находит воплощение в совершенно ином плане.

Такого рода герой, как некий высокий психологический феномен, духовно и идейно формируется в новой социально-политической и психологической атмосфере. Для А. Каландадзе («Зеленая ветвь»), Л. Мрелашвили («Кабахи»), Г. Абашидзе («Корнали»), А. Сулакаури («Золотая рыбка»), Э. Кипиани («Шалка, подброшенная в небо») этот герой выступает уже в качестве идеала, превратившегося в материальную силу. Он уже не просто представитель и своего рода «критерий», носитель общественной морали и совести, но и активно настроенная и жизнеутверждающая действенная сила, воплощение воли и умонастроений народа.

Место и функция такого героя в жизни общества обусловлены уже не столько чувством субъективной правоты, сколько постижением объективных законов, проявлением этой объективной необходимости в самих его действиях.

Главный герой «Кабахи» Ладо Мрелашвили — Шавлего именно потому и является подлинно волевым человеком, что глубоко и верно постигает закономерность, ставшую необходимостью, уже вполне созревшую тенденцию ее дальнейшего развития.

В романе друг другу противостоят два сильных характера, две явные тенденции. Председатель колхоза Нико Балиашвили — человек исключительной выносливости и нестигаемой воли — целиком подчинен лишь субъективной уверенности в своей правоте. Однако его кажущаяся правота постепенно приходит в столкновение с объективной реальностью и приводит его к духовному перерождению; тут сильная воля выдает ложь за правду и сама насаждает ее. Но у процесса исторического развития есть свои незыблемые законы, и восставшая против них сильная воля оказывается на деле бессильной, она обречена на неизбежный крах. Лишь Шавлего олицетворяет большую правду жизни и своей сильной волей ускоряет ее практическое торжество.

Роман Л. Мрелашвили примечателен своим критическим пафосом. В нем подняты насущные проблемы послевоенной колхозной деревни, и среди них главная — проблема дееспособного руководства, правильной организации труда, проблема преодоления негативных явлений, насажденных субъективистским руководством.

Для грузинского романа стала характерной и тенденция поэтапного воплощения так называемой «деревенской темы». Широкий ее масштаб может быть воспринят как новая социально-политическая, психологическая и национальная история крестьянина XX столетия. Здесь объектом изображения становится сложная судьба человека, действующего на большом историческом отрезке. Тяжесть его судьбы обусловлена истинностью самой общественной жизни, резкими социально-политическими сдвигами и переменами.

Такого типа романы о грузинском крестьянстве приобретают значение художественной летописи большого пласта на-

родной жизни. Когда в шестидесятых годах Серго Кудинашвили опубликовал вторую книгу своего «Пепла», основная его проблематика была определена именно этой задачей. Своих героев, действовавших в дореволюционную эпоху, он «издергал» уже в наши 20—30-е годы и подчинил их действия характерной для этой эпохи новой социальной и психологической атмосфере. Тем самым между историческими явлениями и событиями двух эпох наладилась своего рода связь, а их резкая контрастность сделала явным и очевидным сложный процесс развития крестьянской психологии.

Обращение романиста к революционному перелому в жизни деревни и к сложной обстановке тридцатых годов было вполне естественно. Для показа всех сложностей того периода требовались новый взгляд и новое осмысление, новая, современная точка зрения. Кстати, эта тенденция является общей для всей советской романистики, в частности для русского, украинского и белорусского романа.

«Побег лозы» Ростома Бежанишвили — уже следующая ступень широкопланового изображения. Здесь новая история крестьянина начинается с февраля 1921 года и доведена почти до наших дней. В орбиту романа попадает целых полстолетия со своими бурными событиями, коренными преобразованиями, напряженной, полной противоречий жизнью и резкими историческими поворотами.

Новая интерпретация характера волевого героя в грузинском романе явилась результатом той естественной реакции, которая должна была последовать за тенденцией дегероизации, как явление, противостоящее этой тенденции и преодолевающее ее.

Разумеется, подобного рода герои рассмотренных выше романов, с точки зрения своей духовной стойкости и волевой целеустремленности, являются резко индивидуализированными и самобытными характерами не по отношению к галерее романских героев вообще, а в их взаимной соотношенности. Совпадение или аналогичность ситуаций, в которые они попадают, не приводят к унификации и стандартизации образов самих героев; наоборот, совпадение ситуаций в каждом отдельном случае вызывает необходимость нового видения героя, нового, оригинального угла зрения в его изображении. Тем самым удается избежать привычных ранее штампов, и это лишнее подчеркивает подлинную оригинальность современного грузинского романа.

В «Золотой рыбке» А. Сулакаури и «Шапке, подброшенной в небо» Э. Кипиани, так же как в других романах этого плана, проблема нравственной закалки молодого героя решается путем его противопоставления носителям антиморали.

Вообще духовный мир героев Арчила Сулакаури весьма сложен. «Золотая рыбка» написана в манере психологических противопоставлений и контрастов, с элементами реалистической символики. Молодой герой романа Дато Натишвили только-только начинает самостоятельную жизнь, но сразу же попадает в противоречивую ситуацию. Противоречия эти как бы фокусируются, главным образом в той семейной среде, где ему

приходится жить: здесь и отчим его — комбинатор и делец Платон Барамидзе, и мать его — мещанка Мариам, и недавно вернувшийся из ссылки, «обиженный» на жизнь и замкнутый в себе старший брат Мириан, и своенравная, капризная стренка Теона...

Старший брат принес как-то домой аквариум с оторванной от всех житейских бурь и равнодушной, безразличной ко всему золотой рыбкой. Эта параллельно-символическая линия подчеркивает и делает явным общий замысел и задачу романа — показать оторванного от потока большой общественной жизни человека, его судьбу. И когда намечается реальная возможность и перспектива приобщения Дато и Мириана к этой большой жизни — наступает конец и одинокому существованию выброшенной из разбитого вдребезги аквариума золотой рыбки. И хотя в романе много недосказанного, а чрезмерно сгущенные краски несколько затемняют перспективу, в нем с удлинной силой показана и раскрыта главная правда жизни: восставший против мещанской морали, вернее, мещанской безнравственности и духовного вырождения молодой герой раздвигает, сокрушает рамки этой обывательской ограниченности, выходит на широкую дорогу полнокровной общественной жизни, активного человеческого бытия. Так обретает свое естественное развитие протест, вспыхнувший в душе молодого героя.

Конфликты, порожденные общественной жизнью, неоднозначны по своей внутренней природе и проявлению. В первой книге «Корнали» Григола Абашидзе эти конфликты представлены, преимущественно, в социальном разрезе. Здесь происходит как бы «изготовка» героев, обострение их взаимоотношений, что должно их, по-видимому, вовлечь в обстановку сложных и болезненных катаклизмов, порожденных допущенными некогда тяжелейшими ошибками и отступлениями от ленинских норм нашей социально-политической морали. Именно поэтому ждет с особым интересом читатель появления второй книги романа.

Пафос же «Зеленой ветви» Александра Каландадзе в ином — он зиждется на раскрытии сути социально-психологических конфликтов. «Зеленая ветвь» — роман о самоутверждении личности, которое дается лишь ценою бескомпромиссного морального императива, ценою преодоления реальных препятствий и противоречий жизни. Вся жизнь главного героя Мамуки Тарсанидзе — это горькая повесть о жизни человека, попавшего в сети противоречий; и жизнь для него — это радость преодоления тягчайших испытаний. Она — жизнь — становится осознанной необходимостью, когда побежден и вырван с корнем духовный и материальный негативизм, ставший своего рода комплексом. А это требует почти нечеловеческого напряжения сил, душевной энергии, чрезвычайной активности характера и огромных целеустремленных усилий воли.

Романист очень часто, иногда даже чрезмерно, нагнетает ситуации, обнажая противоречивую суть явлений, дабы показать и доказать неисчерпаемость энергии и негибкость духа внутренне убежденного в своей правоте и продолжающего верить в истину человека.

Роман Огара Чиладзе «И каждый, кто встретится со мной» — произведение весьма сложной формы — является своего рода апологией нестигаемой и непокоримой души человека, сила воли которого и жизнестойкость обусловлены высоким гражданским самосознанием и неистребимым стремлением к самоусовершенствованию. А вот суть романа Огара Чхендзе «В гору и под гору» выявлена в скорбных раздумьях оторванного от родной земли человека, с тоской уповающего на эту землю и испытывающего неодолимую к ней тягу.

О широкоохватности современного грузинского романа, о его упорном стремлении выявить и разгадать нравственные искания и духовные поиски современника свидетельствуют многие и многие произведения этого жанра. «По городу ступают динозавры» Резо Чейшвили — роман чрезвычайно оригинальный по стилю, правда, решенный в так называемом «развлекательном» или «веселом» плане, но густо населенный разнообразнейшими характерами, — посвящен противоречивой и пестрой жизни «провинциального» грузинского города. Позитивные импульсы и симптомы общественной жизни, так же как и ее нужды и «болевы́е точки», новаторская, ищущая натура человека или же его консервативность и отсталость — все эти противоречивые черты и признаки развития и хода жизни стали предметом изображения в романах Левана Готуа («Льву подобен львенок»), Алио Адамиа («Большая и маленькая Екатерины»), Элизбара Майсурадзе («Утраченные мечты»), Тенгиза Гоголадзе («Человек человеком»), Теймураза Маглаперидзе («Ушба»), Гурама Дочанашвили («Одеяние первое») и других. Жизнь в них увидена многообразной, разнообразной с акцентированием новейших тенденций развития.

Товарищ Л. И. Брежнев говорил на XXV съезде партии о новом художественном уровне так называемой «производственной темы», о новой художественной форме ее воплощения, о новом общественно-политическом и эстетическом ее звучании. И в грузинской романистике ныне уже в значительной мере преодолены примитивность, поверхностность, одноплановость характеров, свойственные романам этого тематического круга в 20—30-х годах.

В «Вепхиа Халибаури» и «Швидкаце» А. Белиашвили, «Седьмом небе» Г. Панджикидзе и в других «производственных романах» личность уже выступает как сложный духовный феномен, а не просто как человек у станка, в шахте или на строительных лесах. Она не просто «винтик» большого производственного механизма и не просто «производитель» материальных благ, а детище сложного реального бытия, исполненное глубоких человеческих страстей, стремящееся к большим и высоким жизненным целям.

Именно таким предстает современный герой «производственного романа» в «Новом горизонте» Ладо Авалиани. Его Тамарела, Шатбия, Нико и другие герои сильны своей общественной сознательностью и непоколебимой, если хотите, фанатической верой в справедливость новых общественных отношений. На этой вере, на этом сознании зиждется их мораль, их

гражданская активность, их душевная чистота. Сознание это выступает в романе не просто как самодовлеющая норма общественного бытия, а как чувство моральной ответственности человека перед обществом.

Л. Авалиани в значительной мере смог развернуть тему своего «Нового горизонта» (вместо сухих и жестких рамок традиционного производственного конфликта) в плане морально-этических столкновений и перипетий. Эта черта также характерна для современного «производственного романа», и новизна ее продиктована новизною и движением самого времени. Конфликты такого рода вообще характерны для советских романов, посвященных современному рабочему классу и технической интеллигенции (назовем, к примеру, «И все это о нем» В. Липатова).

В «Новом горизонте» верно решена еще одна острая проблема современности — проблема эстафеты поколений. Это вопрос о том, что должны принять и унаследовать дети от отцов, и как, вместе с тем, должны они обрести свое место в жизни. В значительной мере тема эта лежит и в основе романа Р. Кобидзе «Листья папоротника».

Сложный процесс формирования характера и воли нового героя положен, преимущественно, и в основу романа Нодара Цулейскири «Зеснахе» (книга первая). Его героиня Зеснахе в противоречивых жизненных обстоятельствах не только достигает подлинных высот человечности, но только сохраняет в себе этот бесценный духовный и душевный дар, но и превращает его в могучее средство воздействия на окружающих.

В современном романе заметно стремление к морально-этической проблематике. В этом проявляется одна из движущих идей — как критического, так и утверждающего его пафоса. Грузинская романистика проявила острое чутье и трезвость взгляда в оценке тех антиобщественных явлений, которые дали себя знать на протяжении ряда последних лет как раз в сфере морали, этики и в иных областях общественного бытия. Под критическим прицелом оказалось нравственное перерождение отдельных людей, широко укоренившиеся мещанство и обывательщина.

В «Бассейне» Тамаза Чиладзе, так же как и в других романах, проникнутых этим же пафосом, на передний план, в известной мере, выдвигается проблема молодежи в современном обществе.

Сооруженный во дворе героя романа — писателя огромный бездействующий бассейн, затянутый уже зловонной тиной и охраняемый чуть ли не с ружьем в руках, дабы никто не смог проникнуть во двор и спугнуть покой самоутоленного мещанина, становится зловещим символом и приобретает черты широкого обобщения. Конечно же, здесь поднят вопрос о взаимосвязи писателя и жизни, но эта конкретная мысль повествования получает гораздо более широкую обобщающую силу; она становится своего рода универсальной моделью любого обще-

ственного слоя, пораженного язвами мещанства, мещанской психологии и морали, образа жизни и образа действий.

В «Бассейне» действует и антимещанское начало; не только как объективно познанная сила противоположного мира (это, конечно, есть в романе), но и как группа конкретных персонажей (Зина, Натела, Беко, учитель языка и литературы, устами которого поведано несколько эпизодов...).

Многие странности и чудачества, а то и апатия молодежи, многие шаги «жалящих, как осы» людей могут показаться неестественными, но они и являются неосознанной реакцией на мещанство, инстинктивным отталкиванием от него.

С этой точки зрения, примечательна сложная линия взаимоотношений Зины и Теймураза, пронизывающая все повествование. Конфликт между молодыми супругами — результат влияния царящего вокруг мещанского быта. Теймураз подпадает под это разъедающее душу влияние и оставляет семью. Он возвращается к ней, лишь преодолев в себе груз мещанства и когда нарушены уже мещанский покой и неподвижность бассейна, когда побеждены инертность и растерянность молодого человека (Беко), когда наступает, наконец, час преобразования и духовного обновления героя романа — писателя и его «хранителя» — Духу-Спинозы.

В этом основной смысл и пафос «Бассейна», и именно поэтому мы должны оценить его как явление положительное, хотя роман несколько перегружен материалом, необязательными деталями, образами, историями.

Тяжкая исповедь попавшей в сложную житейскую ситуацию героини Отиа Иоселиани («Жила-была женщина») или же переживания героя «Грешника» Гурама Гегешидзе — все это мучительный духовный процесс самоочищения человека на пути поисков новой истины. Обличительный пафос микроромана Михаила Мревлишвили «Роковой поворот» и «Преображения» Иванэ Урджумелашвили основан на сознании строжайшей ответственности тех, кто преступил законы высокой морали.

Главной темой, главным объектом изображения в грузинской романистике по-прежнему остается современная жизнь с ее сложным и противоречивым содержанием, с ее перипетиями и конфликтами. Но изображение это обогатилось множеством новых оттенков. Расширилась сама галерея героев грузинского романа. Стал многообразней внутренний, духовный мир самого героя — ныне он неизмеримо сложнее и многограннее. В центре внимания романистики оказались многие остросовременные проблемы общественной жизни, в том числе и порожденные бурным процессом научно-технической революции. Иную, иначе «нюансированную» разработку получили и так называемые темы «города» и «деревни».

Как мы уже видели, этот процесс непосредственно коснулся и положительного героя романа, и всего комплекса морально-этических проблем.

Именно этим объясняется новое обострение интереса ряда романистов к проблемам, уже разрешенным ими в 20-х годах, их поворот к своим ранним эпическим полотнам — создание новых редакций, вариантов старых романов или совершенно новые сюжетно-композиционные их переосмысление и перестройка. Таков опыт Серго Клдиашвили («Тихая обитель»), Константина Лордкипанидзе («Заря Колхиды», «Моя Гаянэ») и других авторов.

В современном романе со всей остротой был поднят вопрос о взаимоотношениях руководителей и масс, хотя тема эта порою получала одностороннее освещение: в центре внимания оказывался отсталый или переродившийся руководитель, преобладал пафос отличия и показа самих путей и причин этого перерождения («На Алазани» Т. Донжашвили и др.), образ же нового героя, руководителя нового типа, подлинного вожака масс оставался в тени.

Мы уже говорили о широком охвате и кругозоре романов о современной грузинской деревне. Отметим и те черты, которые роднят и сближают их с подобными же романами других братских литератур.

Указанная тенденция с особой четкостью и силой сказалась в «Волшебном камне» Константина Лордкипанидзе (особенно во второй книге романа). В нем, так же как в современных русских, украинских, литовских и других романах, ставятся и решаются острые проблемы многосложной и разнообразной жизни послевоенной деревни, взаимоотношения руководителей и масс, нравственной чистоты людей, их нового психологического склада, проблемы экономики, политики, культуры и т. д. В «Волшебном камне» сильна тенденция принципиальной критики и обличения многих недостатков и пороков нашего быта, нашей общественной жизни, самих живых носителей этих пороков и язв, хотя на первом плане стоит все же показ нового, положительного, перспективного.

В этом отношении недавняя вторая книга этого романа отличается от первой — она более масштабна и по сюжету, и по проблематике, в ней преодолен некоторый сюжетный «герметизм» первой книги.

Как раз во второй книге поднял автор проблему взаимоотношения масс и руководителей, дав этой теме новое осмысление и решение. Изображенный романистом партийный руководитель Симон Чохели, когда-то отзывчивый и чуткий, принципиальный и бескорыстный человек, постепенно теряет эти качества подлинного партийного вожака, поддается соблазнам мнимого житейского благополучия и погружается в омут перерождения и вырождения.

Образ Симона Чохели достигает таких высот обобщения и типизации, что явно не уместается в локальных рамках. Чтобы не ходить далеко, вспомним чохелевского «двойника» хотя бы в «Кринице» Ивана Мележа — секретаря райкома Бородку или же обратим внимание на перекличку еще двух отрицательных персонажей этих романов — Мохнача и Дата Канчашвили. Это разные национальные характеры, но их явно

роднят свойства, отражающие те или иные стороны их социального бытия, общественно-морального облика.

Разумеется, такого рода родство и взаимная близость проявляются и там, где речь идет о пафосе утверждения положительных начал. Ведь все, что характерно лишь для данной уродливой, искаженной картины или жизненной ситуации, должно быть неминуемо преодолено во имя высоких идеалов социалистического гуманизма. Вот эту закономерность, эту необходимость и выражают как «Волшебный камень» К. Лордкипанидзе, так и «Криница» И. Мележа.

Понятно, что не все из рассмотренных нами грузинских романов стоят по своим эстетическим и социально-познавательным достоинствам на общем высоком уровне, достигнутом современной советской романистикой в целом.

Самый же крупный недостаток некоторых современных грузинских романов заключается в сравнительно пониженном интересе к социально-активному герою.

Это обстоятельство особенно бросается в глаза сегодня, когда энергия и воля всего грузинского народа проявляется как раз в бескомпромиссной, социально активной борьбе с разнообразными негативными явлениями во имя практического воплощения высоких идеалов. В центре же этой борьбы стоит именно социально активный герой со всеми присущими ему национальными чертами и интернациональным духом, негибаемой волей и верным чутьем будущего, перспективы и прогресса. Естественно, что этот герой и должен занять в новом грузинском романе свое законное доминирующее место.

2. РОМАН И ИСТОРИЯ

На современном этапе получил свое дальнейшее развитие и роман исторический. Было продолжено — во всеоружии метода социалистического реализма — освоение как далекого, так и ближайшего прошлого грузинского народа. В новейшей практике романистов по-новому сказались известные принципы и традиции, выработанные в свое время в области грузинского исторического романа В. Барновым, К. Гамсахурдиа, М. Джавахишвили, Ш. Дадияни, А. Кутатели, А. Белиашвили...

В новом, современном грузинском историческом романе больше места отводится народным массам, возрос показ их удельного веса, их роли и места в истории. Примечателен и сам факт постепенного преодоления тенденции идеализации прошлого.

Историческая трилогия Григола Абашидзе («Лашарела», «Долгая ночь», «Цотне»), заключительная книга которой была создана в 70-х годах, несомненно, явилась новым художественным прочтением древнегрузинской истории. Дело не только в том, что романист смог показать народ как истинного творца истории, но и в том, что он смог вскрыть в далеком прошлом подлинные первопричины и источники великой народной трагедии, опровергнув широко распространенную дотоле историче-

скую концепцию, объясняющую причины катастрофы древней Грузии. Григол Абашидзе выдвинул новую, по существу совершенно-историческую концепцию этой катастрофы.

Как известно, нашествие монгольских орд сокрушило могущественную и высокоразвитую некогда державу. Вслед за этой катастрофой над Грузией воцарился мрак истине долгой ночи, и понадобились века, чтобы этот мрак рассеялся.

Однако, согласно исторической концепции романиста, монгольское нашествие выступает не единственным неотвратимым условием гибели страны. Еще в «Лашареле» была заявлена и выявлена тенденция внутреннего разложения грузинского государства, которая с неумолимой последовательностью стала намечаться после царствования Тамар. Единое могущественное государство начинает дробиться и распадаться на отдельные влиятельные феодальные объединения, а наследники Тамар оказались бессильными перед лицом этой губительной тенденции государственной децентрализации. Напротив, своими действиями они, вольно или невольно, даже способствовали ускорению этого процесса разложения. И вот, когда к рубежам Грузии подступил сначала преследуемый монголами Джалалэддин, а вслед за ним нахлынули орды Чингисхана, внутренне ослабленная страна уже не смогла противостоять им при всем немислимом героизме народа и самоотверженности его лучших сынов.

В свое время, еще в XIV веке, грузинский автор исторических хроник — «Хронограф» — этот, по словам академика И. Джавахишвили, «беспристрастный» и «добросовестный» летописец — в основном именно так и оценил Грузию XIII века в своем сочинении. Но были у Георгия Лаша и придворные летописцы-одописцы, и личность его в дальнейшем, из поколения в поколение, оказалась в достаточной мере идеализированной.

В своей работе над «Хроникой XIII века» (подзаголовок романа «Цотне») Григол Абашидзе ключ к своей исторической концепции нашел именно в «Хронографе». Этот памятник он расценил не только как сочинение, основанное на «в высшей степени патриотической и национальной концепции», но и как достоверный источник исторической правды, объективной исторической истины, и свою, уже художественно-историческую, концепцию романа построил, опираясь, главным образом, на этот источник.

Концепция эта, по своей сути, исходит из принципа особой ответственности правителей страны перед историей, перед грядущими поколениями, ибо каждому сделанному ими шагу предстоит быть взвешенным на весах истории, если не в их правление, то в будущем.

В то же самое время историческая личность должна быть судима с учетом условий ее собственной эпохи. Трилогия Григола Абашидзе построена именно так.

Если в первой ее книге — «Лашарела» — нашли отражение сложные и противоречивые явления кануна катастрофы и показано начало процесса распада некогда могущественного

грузинского государства (возрождение феодального партикуляризма, конфликт между царем и народом, первые столкновения с беспощадным врагом), то вторая книга — «Долгая ночь» — рисует бедственное положение уже повергнутой страны, тяжкие испытания, выпавшие на долю погруженной во мрак грузинской земли и ее сыновей, являя нам и величие самоотверженного патриотического духа грузин.

Все это находит свое естественное развитие и завершение в заключительной книге трилогии — «Цотне, или падение и величие грузин». Здесь во весь рост встает проблема взаимосвязи национального самосознания и личной морали. Кохтиславский заговор против монгольских поработителей, особенно же беспримерное самопожертвование Цотне Дадзани увиденны здесь, с одной стороны, как высокое проявление непоколебимости национально-патриотического духа в годину жесточайших испытаний и как образец редчайшего личного морального подвига, торжества личной морали высоко нравственной природы. И это уже новая, в известном смысле историческая, сила.

У своеобразного и оригинального художественного воплощения романистом событий XIII века в истории Грузии есть и свой второй план, в известном смысле приближающий эти события к современности. Создается он особо заостренным вниманием к урокам истории, я бы сказал, **чувством уроков истории** и предостерегающим голосом чистого разума.

Как мы уже отмечали, возникновение новой концепции осмысления и освоения исторической действительности следует признать характерным и примечательным явлением грузинской исторической романистики последних лет. С этой точки зрения, выделяются «Тяжкий крест» Реваза Джапаридзе и «Бремя героев» Левана Готуа — объемистые и, так сказать, «широкоформатные» исторические романы. Внимание авторов сосредоточено в них как на национальных, так и на социальных аспектах исторических событий, но, разумеется, с глубоким осмыслением их в разрезе глубоких психологических конфликтов. В этих произведениях проявилась характерная для советского исторического романа в целом тенденция активно-прогрессивного отношения к исторической действительности и художественного освоения ее с позиций определенных идейно-эстетических принципов, с четкой идейной направленностью вообще.

Этими чертами отличается, в частности, «Тяжкий крест» Р. Джапаридзе, в котором раскрытие и оценка сложного и противоречивого характера исторических перипетий западно-грузинского — Имеретинского — царства XVIII века по сути своей предстает объективным «приговором». Романист обрисовал трагическую судьбу страны и народа как противоборство прогрессивной для своего времени идеи единого государства, единодержавия и реакционных центробежных сил, антинациональных в подлинном смысле этого слова. Он показал хищное своекорыстие разнузданных феодалов, всех этих Дадзани, Абашидзе, Эристави, коварство и аморальность которых обусловлены самой феодальной структурой общества, феодаль-

ной формацией, но в данной конкретной ситуации они стимулируются и провоцируются внешним врагом — турецкими захватчиками, поработившими всю Западную Грузию. Перед страной, перед народом вновь возникает дилемма: или решительно пасть и выродиться, подчинившись воле султана и собственных феодальных хищников, или же восстать против них и защитить свое достоинство, свою честь, свой язык и свой род, избавить себя и своих сыновей, своих потомков от полной гибели и векового унижения. И так же как в далеком прошлом, на этой же земле приступил Давид Строитель к выполнению высочайшей исторической миссии по возрождению своей страны и своего народа, и ныне, пять веков спустя, новому подвижнику и герою, Соломону Первому выпадает роль, идя по стопам своего великого предка, совершить то же самое. Правда, в романе эта параллель не обнажена и звучит довольно «глухо», но она четко вырисовывается в сознании самого читателя как повторение тяжелой исторической доли родины и как единственный выход из рокового тупика.

«Тяжкий крест» — это роман в первую очередь о народе, о его месте в истории, хотя, на первый взгляд, в центре стоит царь Соломон Первый. Однако Датуна и Николоз Панчвадзе, Окруа и Шамше Брегадзе, Бачуа Сопремадзе, Росаб Мачавариани, Аския Абесадзе, Исхак Тетруашвили и многие другие, яркими и богатыми красками воссозданные образы представителей народа, создают всю многообразную, социально и психологически насыщенную картину национальной жизни, выражая думы, чаяния и волю народа. А его первейшая цель — изгнание коварного и жестокого врага и обуздание свирепых феодалов. Сам царь Соломон, как прогрессивный руководитель страны, именно этим целям и стремлениям подчиняет свою волю и свой недюжинный талант. Таким образом, не столько забота о сохранении трона, сколько мысль о спасении родины направляет его сильную волю. Загораясь этой целью, обрушивает он свой гнев на неверных и двуличных феодалов, возвышая верных и преданных людей из низших сословий; этой целью проникнут он и ею руководствуется как при встрече с правителями соплеменной и братской Картл-Кахетии, так и с русским послом Львовым...

Историческая концепция романа и здесь такова, как в трилогии Г. Абашидзе: раздробление единого государства на микрорядения — явление, по сути своей, антинародное, антипатриотическое.

О пристальном интересе современной грузинской романистики к историческому прошлому свидетельствуют также романы последних лет — «Время героев» и «Митридат» Л. Готуа, «Нейшневская клятва» А. Каландадзе, «Сабли без ножен» Л. Саникидзе, «Многобалконный город» Н. Габаона и др.

Григол Чиковани же обратился к ставшему уже историей недавнему прошлому и в романе «Февраль» воскресил бурные дни революционной борьбы за победу в Грузии Советской власти. И хотя в романе показаны жизнь и борьба одного из уголков Грузии — Одиши, представленная в ней ситуация настолько типична и дана в таком обобщении, что доподлинно

выражает настроения всего грузинского народа в эпоху меньшевистского господства.

Главный герой «Февраля» — одишский большевик-комиссар Варден Букия — осуществляет волю партии в первую очередь за утверждение великой исторической правды. Это — вошедшая в плоть и кровь революционных рабочих и крестьян правда, подлинно народная мудрость новых идей, чудо самопожертвования и подвига во имя высоких революционных идеалов как итог осознания неотвратимости исторической перспективы.

Параллельно с историческим романом в грузинской романистике все более органично стал утверждаться жанр так называемого биографического романа. Это обстоятельство также стало одной из характерных тенденций развития грузинского романа.

Стремление к предельной «образной документальности» вообще свойственно художественному мышлению нашего века; бесконечный поток информации во всех областях общественного познания, естественно, толкает человека к большей документальности также и в сфере художественного мышления.

«Григол Орбелиани» и «Стенание» Элгуджи Маградзе, так же как «Екатерина Чавчавадзе» и «Потомки» Серги Чилия — типичные современные историко-биографические романы. В них со всей силой сказалось стремление к такому обобщению непосредственно документального материала, когда он воспринимается и как биография личности, и как показ тенденций развития — на определенном этапе — всей совокупности общественной жизни. Понятно, что в этих заданных условиях мало простора остается для писательской фантазии (столь необходимой для романа собственно исторического), но и полное «отлучение» ее от романа биографического — и нелепо, и нежелательно.

Романы этого типа в грузинской советской литературе появились, конечно, гораздо раньше. В книгах К. Гамсахурдиа («Роман гетевской жизни»), Л. Асатиани («Жизнь Акакия Церетели»), В. Челидзе («Жизнь Ивана Мачабели»), Н. Агиашвили («Жизнь Сервантеса») была уже преодолена так называемая «биографическая сухость» и путь личности предстал в весьма широком аспекте видения. Далее к романам этого типа прибавились «Мой брат Виктор» Н. Долидзе, «Барс гор» М. Хергиани, «Световой столп» А. Геловани, «Илнаоба» К. Гогнава.

Вместе с тем, главные недостатки ряда биографических романов следует объяснить снижением предъявляемых этому жанру требований. «Сырой» и «непереваренный» порою материал, дающий себя знать кое-где, наносит ощутимый ущерб этому нужному и перспективному жанру в новейшей грузинской романистике.

3. НОВЫЙ МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Хотя мы уже говорили о новых разносторонних явлениях, сказавшихся в процессе развития современного грузинского романа, разговор об этом должен быть продолжен. В частно-

сти, следует особо сказать об обогащении грузинской романистики последних лет синтетическим в жанровом отношении прозаическим эпосом так называемого мифологического плана. Среди этих романов синтетического жанра, несомненно, выделяется «Дата Туташхия» Чабуа Амиреджиби, который наряду с небывалым интересом вызвал и известный разноречивой в нашей литературной критике.

«Дата Туташхия» по своему характеру является построенным на классических принципах эпоса романом с так называемым обрамлением, и в нем реализованы жанровые черты и возможности как романа социального, психологического, так и авантюрно-приключенческого. Синтетическая форма его обусловлена «ветвистым» расположением и осмыслением проблем и перипетий. Но, в отличие от традиционного романа этого типа, многогранность и «полифокусный», что ли, характер выступают здесь внутренней структурой романа, свидетельствуют о поисках новой его поэтики.

Условия для создания эпоса этого типа, как и прямого проявления самой тенденции мифологизации действительности, созрели в грузинской романистике, главным образом, в 60-х — 70-х годах, когда полувековой опыт грузинского советского романа требовал уже обновления и развития. Развитие же должно было опереться на традицию, заложенную в романистике XX века В. Барновым, Н. Лорджианидзе, М. Джавахишвили, К. Гамсахурдиа, Ш. Дадиани, С. Клдиашвили, Д. Шенгелая, К. Лорджианидзе, А. Кутатели.

Острая постановка проблемы и самой концепции личности, что вообще характерно для советского романа 60-х — 70-х годов, стала сказываться и в грузинском романе. В процессе художественной реализации самой этой тенденции на первый план выдвинулись духовные поиски как некий психологический фокус самопроявления личности, появившей в мир сложных отношений и состояний.

Основная проблема «Даты Туташхия» — поиск личностью самой себя, своей истинной сущности, миссии, назначения, своего места в жизни и мире. Сложный процесс таких поисков показан в романе как стремление человека к полному самораскрытию. Но самораскрытие это как максимальная реализация возможностей личности не происходит, если благие устремления ее вступают в трагическое противоречие не только с определенным общественным укладом, но и с самой реальной возможностью осуществления идеала. Это волевых. А с другой стороны, согласно концепции романа, реализация идеала, воплощение его требуют мученического самопожертвования личности, являющейся носителем этого идеала.

Главный герой романа — человек рубежа XIX — XX столетий — Дата Туташхия начинает с того, что восстает против зла, стремясь утвердить добро. Но зло как бы ходит по пятам за добром, неотступно от него, и поэтому многие добрые деяния и шаги героя в социально неупорядоченном обществе по своим объективным результатам оборачиваются все тем же злом. Противостояние добра и зла осуществлено в романе как действие людей противоположной морали и нравственности,

резко отличных друг от друга духовного склада и устремлений. То, что связано с именем Дата, действует заодно с ним, подчиняется его моральным нормам — это и есть добро, хотя и не до конца осознанное и воспринятое. А то, что противостоит морали Дата Туташхия — весь мир Мушни Зарандия и графа Сегеди, — является олицетворением зла в социальном или моральном плане со всеми своими ужасающими последствиями. Согласно концепции романа, этот мир внутренне разлагается и обречен, в конечном итоге, на гибель, на поражение. Процесс же гибели зла должен, естественно, сопровождаться торжеством добра как великой человеческой правды. Это как бы подтверждение и осуществление великого руставелевского завета — «зло псвержено вовеки торжествующим добром».

Но, конечно же, сам Туташхия отнюдь не «герой этой миссии», и его бурная, интересная жизнь — вся эта освещенная светом поисков, но и обремененная сомнениями и колебаниями история — завершается трагически. В финале романа Дата гибнет. Но сама его гибель осмыслена как торжество добра, ибо добро и истина торжествуют ценою мученического самопожертвования.

У этой мастерски осуществленной трансформации библейского мифа есть и своя слабая сторона, сказавшаяся в ослаблении социального начала. И хотя во вторую, преимущественно, часть пассажи этого рода «привнесены» в изобилии, все же активно действующая социальная сила в романе оказалась отодвинутой на второй план.

Объектом изображения здесь взят определенный период национально-социальной истории. В ее авторской интерпретации явственно выступают и мифологические элементы. В этом отношении «Дата Туташхия» продолжает известную тенденцию современного романа вообще. Но мифологический «стиль» мировосприятия не стал для него таким же исходным принципом, как он стал, скажем, для Отара Чиладзе («Шел человек по дороге») или Нодара Цулейскири («Тутарчела»).

Традиционный миф в этих романах обретает вторую жизнь благодаря новому образному освоению жизненных реалий; происходит не «реставрация» мифа, а открытие или раскрытие его нового смысла-содержания. Новое же содержание объемлет живую, непосредственно данную, чувственно-воспринимаемую жизнь целых эпох с их сложнейшими явлениями и духовно-материальной «фактурой».

Отар Чиладзе известному мифу об аргонавтах «подыскал» совершенно новый ракурс, переместил, сдвинул этот миф в неожиданное измерение; он сбросил с него покров легендарно-сказочной привлекательности и с высот «сверхистины» спустил на жесткую земную почву, этого он достиг благодаря оригинальной интерпретации понятий морали и антиморали, личного совершенства и деградации, разрушения личности, верности родине, народу и измены им, горе-злосчастия и добродетели, беспощадной жестокости и милосердия, деспотизма и человеколюбия. Тенденция демифологизации осуществляется в романе, с одной стороны, в силу крайне обостренного чувства конкретной национальной действительности и,

с другой, посредством своеобразного пародирования мифологических героев и пассажей. Мифологические Минос, Аэт, Язон, Медея, Фрикс и другие выступают здесь как порождение конкретной исторической действительности со всеми земными человеческими страстями, устремлениями, слабостями и прегрешениями. Крепость-царство Аэта — Вани — сломлена изнутри после того, как в ней обосновалась и угнездилась, нашла опору чуждая, иноземная сила; сломлена под натиском всеислия лжи, фальши, зависти. То, что в былые времена являлось символом могущества, доброй воли, разума и гармонии, шаг за шагом и с неумолимой последовательностью становится гнездовьем вырождения, перерождения, тирании, трусости и предательства, ибо размыты в ней нравственность и мораль. Фрикс лжив и двуличен; таким путем пытается он проникнуть и враси в инациональную почву; но здесь же и начало его трагедии. Медея вполне сознательно предает отца; Язон превратился в обыкновенного вора и грабителя, а Окаджадо вновь пытается чужими руками завладеть тронем. Этой великой несправедливости приносятся в жертву моральная чистота и могущество страны, высокий разум и добродетель человека. Похищение и утрата золотого руна символизируют утрату мира и лада, добра и гармонии, богатства и мощи. И порочный мир Окаджадо должен породить безграничную жестокость и всеислие зависти, распад и разложение, разлад и дисгармонию. Для такого уродливого и искаженного мира одинаково характерны и злость бесплодного Куса-палача, и трусость мягкосердечного Фарнаоза.

И бесследно исчезает райский сад Дариачанга, стерты с лица земли ряды златокузнецов, грозно ширится и вздымается болотная топь, всасывая и покрывая некогда цветущий приморский город. Море отходит, отступает от него. Черноглазая Малало превращается в карлицу. Колыбельного мастера Бочию заменяет олицетворение «холода, одиночества, бесплодия» — Кама, одним своим взглядом способная засушить и иссушить все на свете.

Но в недрах этой жестокости и бескрылости должен блеснуть луч света — света будущего. Как и любой деспотический мир, обречен на гибель и мир Окаджадо. Окаджадо остается один со своим тронем, скипетром, короной, а непутевый сын Фарнаоза — этот вечно ищущий и бесстрашный дух народа — совершает полетный прыжок из своего заточения. В представлении народа вновь воскресает колыбельный мастер и многодетный отец Бочия — этот символ вечного обновления, жизни без начала и конца, возрождения. И вот, последней жертве деспота — припвожденному к стене Фарнаозу — недаром видится цветущий сад Дариачанга — олицетворение и символ грядущего мира.

Весьма четко выступает в романах такого стиля двуплановое развитие повествования, чередование в нем реального и ирреального измерений. Вместе с тем, элементы бессознательно-неосознанного, столь характерные для античных мифов, начисто исключены из современных мифологических романов. Все содержание мифа подчинено определенной национальной

или социальной действительности, четкому эстетическому предположению автора. Миф становится еще одним реалистическим приемом, средством, орудием образно-иносказательной передачи «внедренных», «пересаженных» в сюжет реальных элементов действительности.

Именно такую функцию обретает миф в «Тутарчеле» Нодара Цулейскири — в этом весьма оригинально написанном романе о наших современниках и о нашей действительности.

Человеческая доброта, великая сила любви, моральная чистота, рыцарский дух, воссозданные когда-то в мифах, как хлеб насущный нужны попруженным в тревогу и треволения, суету и мельтешение, охваченным страхом и сомнениями, согбенным под тяжестью жизненных испытаний людям нашего века. Поэтому и возрос в свое время в Сакаландарио удивительный сад народного врачевателя Гергебэ — сад Гекаты. Поэтому возвращается в деревню городской врач — потомок Туташей, внук Гергебэ — Георгий, стоило лишь ему узнать о начале разгрома и истребления сада, возвращается, дабы возродить его и вновь принести людям радость и душевный покой, душевную чистоту.

Возвращение Георгия к земле, к родному очагу, в родное село представлено в романе таким добрым деянием, такой добродетелью, которая не только способна восстановить личный душевный лад и нравственную чистоту, но и «упорядочить» также все ближайшее окружение, окружающую сложную действительность; герой призван покончить с укоренившимися было среди односельчан враждебностью, враждой, мелочной завистью; он должен победить низость Гурцумии и возвысить дух Дидкосты; он должен пресечь рознь между Гуча и его братьями и утихомирить трагическую бурю в душе Тату; он должен «снять» конфликт между насмерть рассорившимися семьями и приобщить, причастить Джондо и Циури к истинной и возвышенной любви...

Эта великая миссия сама по себе является хождением по мукам: исцелитель любовных ран сам становится жертвой этой «болезни», но сын народа пастух Одойя нападет на след истинного божества — Тута, вдохновит свой народ на борьбу и подвиг, спустит с небес на землю любовь, и тогда окончательно обретет счастье Георгий, вернувший себе любовь Анны.

Торжество добра и чистоты не достигается без жертв. Поэтому и Георгий, и Одойя должны вкусить свою долю страданий и мук. И точно так же, как Одойя возвысится через принятую муку и станет мифологическим божеством, конечное счастье Георгия также должно быть достигнуто ценою жестоких испытаний. Доля Одойи и судьба Георгия в романе Цулейскири — это своего рода параллелизм мифа и реальности, когда, собственно, миф становится былью.

Так органически вошла в современный грузинский роман мифология. Так осуществилась в нем общая тенденция сопряжения античных мифов, древних сказаний с современностью, так произошло новое образное освоение мифа.

4. ОКОПНАЯ ПРАВДА



Среди тем, столь щедро питающих грузинскую романистику, одно из ведущих мест занимает военная тема.

Здесь не произошло, наподобие русского, украинского или белорусского романа, столь явных «переоценок художественных ценностей» и пересмотра концепций в показе трудностей и сложностей войны, но сам показ судьбы человека с ружьем, его благородной подвижнической миссии постепенно достиг большой правды художественного обобщения. Тот чрезмерно приподнятый тон, который был свойствен первым романам на эту тему второй половины сороковых годов, понемногу уступает место большей психологической глубине в постижении великой правды военных лет. Вступают в силу иные нравственные и эстетические критерии.

Новое художественное решение обретает тема подвига сыновей Грузии на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах в тылу у врага или же в дальних концентрационных лагерях. Основой основ таких романов становятся впечатления и опыт, накопленные непосредственно в условиях военной страды, или же документальный материал, отсеянный и восполненный творческим воображением писателя.

В грузинской романистике последних лет обращает на себя внимание многогранность, многоаспектность художественного осмысления войны. Здесь открылось несколько планов для передачи той единой великой правды, которая объемлет и стойкость духа, и высокую гражданскую мораль, и ясность целей, и, в конечном итоге, гуманизм и патриотизм советского человека.

Если в романах Александра Каландадзе («В Брестской крепости», «По следу Пяста», «У макизаров») на передний план выдвинулась судьба человека, оставшегося лицом к лицу с жестокими испытаниями, человека, который не только должен выстоять, устоять, но и победить «всем смертям назло», то в эпопее Отии Иоселиани («Черная и голубая река») война изображена как первоисток, первопричина распада гармонических, устоявшихся общественных связей человека, крушения его самых счастливых упований, как источник жестокой дисгармонии, внесенной в стройные ряды объединенных общей целью и единой волей людей.

Новые пласты военной темы обнажились в романе Акакия Гецадзе «Цветок, возросший в колючуге», внутренняя динамика которого во многом основана на принципах классической трагедии.

О множественности аспектов освещения Отечественной войны, о необычайном тематическом и образно-пластическом разнообразии романов, посвященных ей, говорят и такие произведения, как «Страстная неделя» и «Белые ночи Маруха» Реваза Джапаридзе, «А Москва у нас одна!» Ивана Урджумелашвили, «Прощайте, непроходимые леса!» Давида Квицидзе и другие. В этих романах документальный материал и правда факта не только претворены в художественную плоть со всею глубиной типизации, но и подчеркнуто поданы в све-

те авторского миропонимания и эстетической позиции. Однако любая степень художественной трансформации фактического материала не лишает эти произведения неподдельной достоверности. Так называемый документальный роман в этом случае, случае такой двуединой достоверности, продолжает оставаться собственно романом.

В эпосе такого рода с особой явственностью проявляется характерная для романа в целом и присущая современному грузинскому роману тенденция соотнесения судьбы человеческой с судьбой народной.

Новейшие черты посвященных войне романов гсворят и о непреходящей эпической животворности этой темы и ее глубокой перспективности в обозримом будущем.

5. ДИНАМИКА ЖАНРА

Динамика жанра современного романа, поиски новых форм его развития отмечены целым рядом весьма примечательных явлений. В этом отношении определенные новации имеют место и в грузинской романистике.

Вообще рамки образно-типовой классификации романа сегодня заметно раздвинулись. Параллельно с традиционной классической формой появились эпические произведения нового типа: роман-проблема, роман-хроника, роман-биография, документальный роман, роман с резким интеллектуальным акцентом, роман нового глобального видения, роман узколокального масштаба — так называемый микророман, роман потока жизни, роман-притча и т. д. Все это преимущественно новые «модели» романа.

Многие из этих произведений красноречиво говорят об изменениях, вызванных неизбежными, необходимыми поисками новой романной эпической формы, ее новых жанровых разновидностей. Естественна и вполне объяснима в ряде случаев и некоторая «сырость», сопутствующая новым формам, как следствие решительных, но все-таки первых шагов на этом пути поисков и обретений. Нет сомнения, что в процессе дальнейшего развития романа еще новые формы отстоятся, осязлятся и превратятся в будущем в новую каноническую, традиционную, в свою очередь, романную форму. Поэтому сам этот процесс поисков новых форм и образов требует внимательного, пристального, чуткого и бережного анализа.

В такой же мере внутренне обогатилась и стала емче сама специфика романа как жанра. Традиционное его понимание восполнилось новыми признаками и особенностями. Этот процесс обновления романной специфики стал особо заметным за последние двадцать-тридцать лет, но процесс этот, как некий единый и целостный комплекс, характерен вообще для советского (и не только, разумеется, советского) романа XX века.

Образно-жанровую специфику его на протяжении целых эпох (так же как и поныне) составляют характерный для него

широкий социальный фон, большой простор явлений общественной жизни и, исходя из этого, многоплановость самого повествования, что так очевидно в творчестве Бальзака, Толстого, Достоевского, Горького, Филдинга, Скотта, Стендаля, Гюго, Гюль и других классиков, а также в творчестве современных романистов. В романе мы встречаемся с таким эпическим освоением действительности, когда художественно-эпическое явление слито с задачами историко-социологического осмысления жизни на фоне многообразных взаимоотношений множества разнообразных персонажей.

Очевиден также большой временной «локал», на протяжении которого совершаются формирование, закалка или же крах героев романа.

Все это, вместе с некоторыми иными традиционными специфическими признаками романа (например, отражение наиболее интимной сферы человеческих взаимоотношений — любви и т. д.) и подразумевалось в основном под его жанровой спецификой. Но в наше время, как уже было сказано, к этому прибавился еще ряд нюансов, ряд специфических признаков, или заимствованных из других жанров, или продиктованных самими законами развития жанра. Сказалось это и в современной грузинской романистике.

В современном романе намного расширился социальный фон и выросли масштабы общественных явлений. В нем подчас показана единовремененно жизнь разных народов мира. Это новый панорамно-охватный характер романа. В нем шире стали ставиться и решаться проблемы мирового значения с показом судеб многих народов. Соответственно, в каждом отдельно взятом романе стали выступать не одна основная тема или идея, а целый их комплекс. Подобный глобальный характер романа с особой явственностью заметен в широких эпических полотнах (романы К. Гамсахурдиа, К. Лордкипанидзе, Г. Абашидзе, А. Каландадзе, О. Чиладзе, Ч. Амирэджиби и других).

Параллельно с этим становится заметной и иная тенденция, в силу которой временной акцент приходится не столько на обширные эпохи, сколько на такие конкретные явления психологической эволюции или на резкие скачки в них, которые передают дух эпохи, содержание, смысл и характерные признаки того или иного отрезка времени. Отсюда осмысление грандиозных событий и явлений эпохи в сравнительно малых формах эпического повествования (романы Н. Думбадзе, А. Сулакаури, О. Иоселиани, Т. Чиладзе, Г. Панджикидзе и других).

Сильным потоком устремились в грузинский роман элементы поэтического мышления; новую силу обрела традиция античного эпоса. Свойственная новому роману тяга к постижению новых глубин человеческой души проявилась и в привлечении, в «совмещении» в довольно ощутимой дозе лирических элементов. Эту линию первыми в грузинской советской романистике наметили К. Гамсахурдиа и Д. Шенгелая. Теперь ее успешно развивают и углубляют Г. Абашидзе, О. Чиладзе, А. Сулакаури, Т. Чиладзе...

Все это, со своей стороны, вызвало сюжетно-композиционную перестройку романа, поиски новых стилистических прие-

мов. Первые элементы новизны в этой сфере сказались еще в романах М. Горького и М. Шолохова, Фолкнера, Хемингуэя, Ремарка, Лакснесса, а затем Маркеса, Апдайка, Арагона, Гамсахурдиа. Ныне же они бросаются в глаза и в романах писателей новых писательских поколений, стремящихся внести в традиционные формы эпики, в их композиционное и сюжетное построение изменения и новшества, продиктованные самим временем и новыми психологическими факторами. Это и есть стремление к новой поэтике, способной выдержать новую смысловую нагрузку, обеспечить новую эстетическую глубину романа и вместить его новую образную систему. Такие поиски формы лишь тогда отмечены печатью подлинного новаторства, когда они сопровождаются новым движением мысли, новой его «гармонирующей», конструктивной силой. Композиционные новшества современного романа проявляются, в первую очередь, в содержательном осмыслении характеров и образов, в новой организации сюжета, в котором через характеры героев выявляются по-новому осмысленные тенденции и закономерности общественного развития, в неуклонном стремлении к новым сложным формам образного мышления.

Перманентная природа развития романа требует постоянного самообновления, подразумевает это обновление, ибо имманентная динамичность эпических структур и необходимость стилистического многообразия сами обуславливают внутреннее развитие жанра. Проблемно-тематическая новизна всегда вызывает соответственные изменения в жанровой специфике романа. Новейшие тенденции его развития уже содержат перспективу новых поисков и обретений в жанровой динамике современного романа.

Перевод Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ВПЕРВЫЕ УВИДЕВШИЙ СВЕТ

Гостивший несколько лет назад в Грузии профессор Римского университета Эмилио Серени узнал здесь о существовании в Палермо альбома с рисунками Христофора де Кастелли, отображающими жизнь Грузии XII века. Возвратясь в Италию, Э. Серени посетил библиотеку коммунале в Палермо и сделал из фондов «Пропаганда Фиде» фотокопии всех семи альбомов, которые и выслал Академии наук Грузинской ССР.

Разработкой этих фотокопий занялся научный сотрудник Академии Бежан Георгадзе, в течение семи лет трудившийся над расшифровкой приписок к рисункам альбомов на 11 языках. Переведя их на грузинский язык, Б. Георгадзе тем самым сделал их доступными для грузинских читателей.

Он снабдил также альбомы, содержащие более тысячи страниц, обширными комментариями и осветил исторические события, отраженные в них.

Альбомы состоят из двух частей: картин и описаний. Многогранная жизнь Грузии представлена в иллюстрациях, так как автор больше внимания уделял рисованию, чем описанию: «Суть дела можно передать одним взглядом и иллюстрацией тогда, когда описание и повествование какою-нибудь факта потребовали бы больше времени», — уверяет де Кастелли.

Основная часть альбомов — это зарисовки исторических лиц грузинских и иностранных послов и дипломатов, а также бытовых сцен, церковных служителей, воинов и представителей культуры, большая часть которых не была известна до настоящего времени.

Альбомы де Кастелли разделены на 25 тематических частей. Этот богатый исторический материал представляет собой и единое издание, где освещены все стороны действительности Грузии того времени.

324 года этот уникальный документ оставался не расшифрованным и неизданным. Впервые осуществлено это в Грузии.

Чтобы облегчить знакомство с альбомами, картины, отличающиеся большим разнообразием, расположены по новой классификации. Графические композиции о царях и царицах непосредственно следуют после описания их портретов. Многое о них до сей поры нам не было известно. Поэтому события, отраженные в

картинах де Каstellи, дополняют наши знания в этой области многими новыми деталями.

Выделяются в альбомах изображения чужеземных царей. Особое место отводится и послам высоких рангов, как представителям иностранных государств. Есть здесь и портреты лиц, находившихся при местном царе. Все вышеуказанные исторические персонажи впервые вошли в историческую литературу благодаря рисункам де Каstellи.

В XVII веке и среди видных деятелей времен де Каstellи выделялись поэты, писатели-философы, художники, скульпторы, музыканты, представи-

тели медицины, неизвестные и по сей день.

Следует отметить весьма характерное для того периода явление — с целью отпора врагам родины все мужчины и женщины, от мала до велика, проходили в Грузии военную подготовку. Особое место отводится воинам, вышедшим из женской среды, которых наши художники со всей тщательностью и живостью изображали на конях вооруженными, как говорится, до зубов. Де Каstellи женщин-воинов восточных и западных краев Грузии считал амазонками не наивно и тенденциозно, а весьма сознательно.



Царь Картл-Кахетии Теймураз I беседует с де Каstellи.



Великий моурави Георгий Саакадзе.

Военная подготовка грузинских женщин прекрасного телосложения и внешности вызвала удивление и восхищение итальянского монаха, который редко встречал подобное явление в других странах. В доспехах и на конях можно было видеть не только царя и принцесс, но и лиц, вышедших как из дворянского, так и из крестьянского сословия.

Для нас это явление не новое, но сведения многих иностранцев об участии грузинских женщин в упорной борьбе против турок и персов еще одно тому подтверждение.

Не меньший интерес вызывают портреты совершенно неизвестных прекрасных грузинских женщин, которым де Каstellи никакой надписи не предпослал. Число их достаточно велико. На портретах, кроме того, изображе-

ны женщины, видимо, приехавшие из других стран, то есть негрузинской национальности. Де Каstellи считает, что грузинские женщины и по моральным качествам, и по красоте намного превосходят европейских.

Выделяются военные сцены с участием грузинских и иностранных воинов. Замечательные портреты военных по своеобразию выражения, одежды, совершенному военному снаряжению указывают на высокий уровень военного искусства наших предшественников.

Определенное место в альбоме занимают бытовые сцены из грузинской жизни, в частности, ярко выраженные обычаи пиршества, разновидности культа вина. Изображения пира, веселья, танцев под сладостные звуки чанги¹ и других музыкальных инструмен-



Царица Имеретии Дареджан.

¹ Грузинский национальный музыкальный инструмент.

тов правдиво передают жизненные картины.

Известно, что многие исторические документы стали жертвой вражеского огня. Альбомы де Каstellи в силу того, что были увезены автором в Италию, избежали уничтожения. Это собрание кар-

тин, содержащее многочисленные данные о сокровищах грузинской культуры, — единственный свидетель событий, происшедших три с половиной столетия назад.

Внимание привлекают сцены правосудия. Специально выделена деятельность миссио-



Примирение имеретинского царя с владетельным князем Мегрелии.

беров (лечение, крестины, молитвы и проповеди). Комментарии к портретам духовных деятелей высшего сословия, а также монахов и монахинь содержат богатые наблюдения.

Особо следует отметить изображение резиденций иноземных миссионеров не только с характерными для них конструкциями сооружений, месторасположением и заселением, но и вещественным своеоб-

разием всевозможных бытовых мелочей, что является весьма важным документом, историческая значимость которого неизмерима.

На картинах изображены также дворцы, архитектурные памятники и другие сооружения. Несмотря на то, что страна не раз разорялась врагом, в жизни Западной Грузии все же заметны следы обновлен-



Кабахи в Кутаиси.

ного строительства и развитие сельскохоз-йственных отраслей.

Сведения о до сего времени фактах, материальных памятниках и людях того этапа истории Грузии де Каstellи сохранил в виде комментариев и зарисовок.

Вторая часть этого издания содержит описание истории Грузии. Так как Христофоро де Каstellи в основном вел свою миссионерскую деятельность в Западной Грузии (в частности в Имеретии и Мингрелии), объектом его описания являются местные жители.

В то время грузинские летописцы обладали скудными сведениями, излагали различные версии, тогда как де Каstellи с большой точностью передает виденное и слышанное им самим, исходит из своих личных впечатлений. Поэтому большую ценность представляют и те его сведения, которые имеют аналогию, и те, которые с ощутимой разницей передают известные факты. С этой точки зрения, данные де Каstellи вносят достоверные изменения в сообщения других историков.

Таким образом, по картинам и сведениям Христофоро де Каstellи можно создать определенное представление о политической и социально-экономической жизни Грузии того времени.

И в этом смысле его труд, впервые изданный в Тбилиси издательством «Мецниереба», неоценим.

Василий ЧАЧАНИДЗЕ.

СМЕШНОЕ — НЕ ТОЛЬКО СМЕШНО

Хочется начать именно с этого в равной мере категоричного и отнюдь не претендующего на новизну утверждения по двум причинам.

Во-первых, его справедливость доказывается всем содержанием нового сборника рассказов Фазиля Искандера «Начало» («Алашара», Сухуми, 1978). Во-вторых, вот каково мнение на этот счет самого автора:

«Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов».

Так завершается первый рассказ сборника. На наш взгляд, здесь автор пусть полусхотливо-полусерьезно, но зато вполне определенно выражает собственное, как художественное так и жизненное, credo. Поскольку же мы вполне разделяем с ним по-

добный взгляд на вещи, то именно с такой точки зрения и будем говорить о «Начале».

Не беря на себя смелость угадывать роль факторов продуманности или случайности, повлиявших на выбор рассказов, включенных в сборник, тем не менее скажем: все они, при несомненной оригинальности сюжетов, фабулы, внешней непохожести, сочетаются в рамках книги с удивительной гармоничностью, ибо, повествуя о разном, притягательны и хороши, по существу одним — благородной простотой языка, которая единственно способна выразить огромную подчас сложность человеческих отношений; чистым и светлым юмором, улыбкой, нередко злой, но никогда не злобной; иронией, тонкой, точной, побуждающей к размышлению; наконец, тем, что смех, который они вызывают, неизменно исполнен непосредственности и в то же время насыщен глубиной самого серьезного раздумья о жизни и людях.

Наверное, каждому рецензенту приходит на ум сакральная фраза: «Но лучше предоставить слово самому автору, ибо невозможно своими словами передать все то неповторимое своеобразие, глубину, порою не сразу уловимую прелесть, которые...» — и т. д. и т. п. Причем желание это по своей силе прямо пропорционально художественным и другим достоинствам того или иного произведения.

«Начало» не составляет исключения, причем в первую очередь это касается

той самобытности авторского видения мира, которая в предельной отчетливостью выражена в индивидуальности образной и языковой фактуры его произведений. И все-таки попытаемся сказать (пусть не всеобъемлюще, не до конца) о том, что же делает Фазиля Искандера в данном сборнике именно Фазилем Искандером.

Прежде всего, это — редкое искусство говорить с улыбкой о серьезном, серьезно — о смешном, обличать зло — без ложного пафоса, утверждать добро — без слезливого умиления; наконец, выходить победителем в борьбе с одной из, может быть, самых больших для художника опасностей — не делаться скучным, становясь на путь моралиста.

Проиллюстрировать этот процесс дело не трудное, так как почти каждый рассказ сборника завершается своего рода сентенцией: налицо, так сказать, склонность автора «ставить точки над «и».

Вот «Петух» — смешной, трогательный, исполненный драматизма рассказ о долгой и жестокой войне мальчугана с этим агрессивным представителем птичьего племени, вражде, которая, естественно, завершается победой человека. Но какова цена этой победы? Петуха поймали — и:

«Казалось, он хотел сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек

ему голову... Жить стало безопасно и... скучно».

Кончается же рассказ так: «Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело».

Воздерживаясь пока от комментариев, вспомним финал «Запретного плода»:

«Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно не прикрывалось».

Аналогичных «любовых» формулировок, высказываний прямолинейных, в корне исключающих возможность сколько-нибудь двойственного толкования, существования какого бы то ни было подтекста, в книге много.

Казалось бы, что может быть более противным самой природе художественного мышления, нежели подобное пристрастие писателя?

Однако вот в чем дело. Приведенные выше и многочисленные другие высказывания нравоучительного характера, эти «моралитэобразные» формулы рождены в глубинах всей искусной ткани произведения, они — логический итог, неизбежное завершение хода событий, хитросплетения ситуаций неожиданных, подчас парадоксальных, но всегда жизненных; и потому они — неизменно естественны. (Вот, кстати, еще одно доказательство того, что нет неудобоваримых, нежелатель-

ных и просто неприемлемых изобразительных средств, что все они в равной степени правомочны, а вот выдвигается то или иное из них в живую плоть произведения естественно, органично или, являя собой инородное тело, коробит и оскорбляет слух — это уже целиком зависит от мастерства художника).

В сборнике «Начало» Фазиль Искандер предстает как подлинно современный писатель. Причем, для тех читателей, у кого годы Великой Отечественной войны совпали с периодом отрочества, он — современный в буквальном смысле слова. И дело здесь, конечно, не только в том, что автор ведет повествование от первого лица, хотя и это, разумеется, при прочих необходимых условиях играет немаловажную роль. Главное заключается в следующем: предельной точностью наблюдений, обостренностью чувств подлинного художника он не просто заставляет нас сопереживать событиям и приметы времени — мы вспоминаем то, чему были свидетелями или в чем участвовали.

Несколько наудачу взятых штрихов из рассказа «Письмо»:

«Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пяточке... А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сантимен-

тальных воспомина ний... Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине возникал маленький водоворот драки... Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх...»

Разве этот послевоенный Сухуми не похож, как близнец, на послевоенные Тбилиси, или Москву, или Саратов? Вот она — война с ее опустошающими душу последствиями, которым пусть и была суждена жизнь недолгая, но которые тем не менее стали частью бытия целого поколения. (И вот, кстати, полная противоположность тому изобразительному методу, о котором говорилось выше, — отнюдь не «прямолинейное», а глубоко опосредствованное восприятие и отображение действительности).

Здесь упоминалось о присутствии Искандеру искусстве обличать зло без ложного пафоса. На какой почве она, эта замечательная способность, возвращена и выпестована?

Тут не может быть однозначного ответа, потому что само понятие «талант» слишком многосторонне, его нельзя сколько-нибудь ограничить даже внешне, казалось бы, сужающим рамки словом «самобытный».

Своеобразие мастерства автора «Начала» — это и присутствующая ему способность на так называемом **местном материале**, насквозь пронизанном пресловутым **местным колоритом**, показать **общечеловеческое** — и вместе с тем неотъемлемо присутствующее конкретным **месту и времени**; это и ярко заяв-

ляющая о себе раскрепощенность художественного восприятия окружающего: это и врожденное (иным, оно не бывает) чувство юмора, всегда неразрывное со склонностью к определенной меланхоличности **думающего**, постоянно стремящегося проникнуть в сущность явлений человека...

Но вернемся к способности **обличать зло без ложного пафоса и утверждать добро — без умиления**.

Да, бесспорно: это — производное таланта. И одновременно — подлинная гражданственность художника, ибо, как таковая она начисто отрицает упомянутый ложный пафос, не терпит бумажной патетики.

В двух рассказах — «Колчерукий» и «Богатый Портной и хиромант» с особой яркостью воплощено искусство автора органично сочетать естественную интонацию рассказчика, без намека на предвзятость повествующего о событиях, свидетелем или участником которых он является, с определенностью гражданской позиции художника, выполняющего то, что называют **социальным заказом**, — писателя, борющегося за наш, советский образ жизни, против мещанства, бюрократизма, стяжательства, обывательской тупости, которая в известных условиях становится весьма опасным злом.

...Такая смешная (и чреватая в свое время последствиями, далеко не шуточными) история с тунговым деревцем, посаженным Колчерукием на могиле... Такая комичная (и вместе — отвратительная) манера Бога-

того Портного выражать свою любовь к сыну («Бывало, поглаживает на балконе брюки или пиджак за-казчика, прыскает изо рта и, поглядывая на улицу, где Оник катается на своем велосипеде, напевает песенку собственного сочинения:

Мой Оник моя птичка...
(Брызг!).

Мой Оник—моя птичка...
(Брызг! Брызг! Брызг!)
Мой Оник, тру-ля-ля!..

Или — образец лаконичности, точности языка, пример воистину убийственного социально - направленного юмора, свидетельство подлинно джеромовского (хочется надеяться, что автора не обидит ссылка на классика) искусства с восхитительной свободой плести нить повествования так легко, словно она вьется сама, без чьей-либо помощи:

«...Князь ел персики и, благодушествуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:

— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.

Но Колчерукий, говорят... высунулся неизвестно откуда и сказал:

— Интересно, сколько быков заблеяло бы в этом дворе?

Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме того, его подозревали в древнегреческом гре-

хе, разумеется, если этому преху положили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому преху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития...» и т. д.

...Колчерукий одерживает моральную победу над князем, а в заключение — смеется над самой смертью. Богатый Портной, вложивший весь свой жизненный капитал в ненадежные акции стяжательства, терпит поражение в комичной войне с «последним русским дворянином и первым советским хиромантом». И даже несчастного сумасшедшего («Мой дядя самых честных правил...»), «...жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пение его было простым и радостным, как пенье птиц».

Так — во всех рассказах Фазиля Искандера, включенных в его новый сборник «Начало». Именно так — просто и радостно — живет в них смешное. Но, конечно, оно не всегда только смешно. Потому что заставляет задуматься, а порой — рождает чувство грусти, или негодования, или веселой злости против того, что мешает человеку быть человеком.

Владимир ОСИНСКИЙ

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА...

Нина Чихладзе пришла к грузинское литературоведение со своей темой — она изучает жизнь и творчество выдающихся женщин Грузии, изучает долгие годы, увлеченно, самозабвенно. Прделан большой труд по собиранию архивных данных, по штудированию всех печатных изданий, в которых могли появиться публикации ее героинь или о них; предметом пристального внимания исследователя стало и их эпистолярное наследие. И вот результат многолетней кропотливой и трудной, но благодарной работы — книга «Роль грузинских женщин в создании национальной культуры» (изд. «Сабчота Сакартвело»). Состоит она из 16 глав. А каждая глава — это портрет-очерк.

Ее героини — выдающиеся женщины своего времени — вырваны из забвения, порою несправедливого, незаслуженного. Их жизнь, судьба проходят на страницах книги перед читателем и создают единую, живую картину женского движения в Грузии, являющегося неотъемлемой составной частью национально-освободительного движения, развернувшегося здесь во второй половине XIX — начале XX века и связанного с именем выдающегося грузинского поэта, писателя, общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. Таким образом, жизнь и деятельность сво-

их героинь Н. Чихладзе раскрывает на широком общественном фоне, затрагивая важнейшие проблемы эпохи, что ли делает ее исследование значительным,

Она останавливается на роли передовых тифлиских газет и журналов «Иверия», «Квали», «Дроэба», в которых сотрудничали наиболее талантливые представители грузинской культуры и литературы, такие, как И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела и другие, чье участие определило прогрессивный характер и высокий уровень этих изданий.

Именно вокруг них и стало объединяться и расти женское движение, которое первоначально ставило перед собой просветительские цели: распространение газет и журналов, сбор средств для них, работа в Обществе распространения грамотности среди грузин, в библиотеках, рабочем театре, подбор репертуара для него, участие в его спектаклях.

Но очень быстро просветительские цели сменяются более широкими, и автор показывает нам появление целой плеяды грузинских писательниц и общественных деятельниц, ставивших своей задачей сближение мировой, русской и грузинской культур, пропаганду дружбы народов, интернационалистических идеалов.

На страницах книги, к сожалению, недоступной для русского читателя, для которого она представила бы несомненный интерес, проходят перед нами такие выдающиеся женщины, как Д. Гандегили-Эристави, которая перевела на грузинский язык «Горе от ума». Перевод ее вышел под редакцией И. Чавчавадзе и до

настоящего времени считается одним из лучших. До сих пор в Грузии читают Тургенева, Горького в ее переводах.

Н. Чихладзе останавливается и на представляющей огромный интерес переписке этой выдающейся женщины: И. Чавчавадзе, А. Церетели, Я. Гогешвили, Н. Николадзе, а также с Рабиндранатом Тагором.

Встает перед читателем и образ европейски образованной Елизаветы Орбелиани, осуществившей перевод на французский язык «Витязя в тигровой шкуре», стихов Н. Бараташвили, А. Чавчавадзе, И. Чавчавадзе, Г. Орбелиани, В. Пшавела, А. Церетели, Г. Табидзе и других и создавшей из своих переводов антологию грузинской поэзии на французском языке. Переводила она и русских поэтов. Так, например, ей принадлежит перевод лермонтовского «Демона» на французский язык. Его издавались также в Тбилиси газеты на французском и английском языках.

Выдающейся женщиной была и мать ее Тамар Багратион-Грузинская. Известна переписка ее с С. Рахманиновым, дружба с австрийской писательницей Бертой Зутнер, переводчицей «Витязя в тигровой шкуре» на немецкий язык, с Марджори Уордтроп, переводившей Ш. Руставели на английский. Т. Багратион-Грузинская широко пропагандировала грузинскую культуру и искусство за границей. Она создала в Италии музей грузинской культуры, все экспонаты которого были потом переданы ею в Тбилисский музей искусств. Придерживаясь прогрессивных взглядов, после

разгрома восстания в Гурии в 1905 году она имела смелость возглавить вместе с М. Джамбакур-Орбелиани Комитет помощи гурийцам.

Интересна личность Нино Кипиани, блестящего публициста, борца за права женщин. Именно благодаря ее прекрасному переводу книга Джованьоли «Спартак» приобрела такую популярность в Грузии.

Книга знакомит нас и с Софьей Амирэджиби, переводившей произведения грузинских поэтов на русский язык. Это она помогла русским читателям приобщиться к миру грузинской поэзии, к творчеству Н. Бараташвили, Г. Орбелиани, И. Чавчавадзе, А. Церетели, В. Пшавела и других. В ее доме в Москве бывали замечательные люди того времени: поэты И. Чавчавадзе, А. Церетели, художники В. Серов, В. Верещагин, Н. Чернецов, М. Гагарин, И. Айвазовский, И. Ярошенко и многие другие.

Любопытно, что сын ее стал крупным деятелем сельского хозяйства в Грузии и одним из первых Героев Социалистического Труда в стране.

Представляет нам Н. Чихладзе и Екатерину Сараджишвили, женщину, в доме которой бывали выдающиеся поэты и художники, которой посвящал стихи А. Церетели. Она была очень богата, но деньги свои тратила на поддержку талантливой молодежи. Свое состояние — три миллиона рублей — завещала на цели культурного развития своей страны. На эти средства был выстроен театр в Кутаиси. Значительные суммы были переданы также Истори-

ко-этнографическому обществу, Тифлисскому драматическому обществу и другим организациям.

Интересен портрет О. Гурамишвили, верного друга и жены И. Чавчавадзе, помощницы во всех его начинаниях. Ей посвятил он свою поэму «Отшельник». Она была видной общественной деятельницей, председателем Общества грузинских женщин, членом Общества распространения грамотности среди грузин. После смерти И. Чавчавадзе она сохранила связь с его соратниками. В ее доме бывали многие выдающиеся представители западноевропейской науки и искусства; с некоторыми из них она вела переписку. О. Гурамишвили похоронена на Мтацминде рядом с И. Чавчавадзе.

Много интересных материалов обнаружила Н. Чихладзе о Т. Мачабели — жене известного переводчика Шекспира на грузинский язык И. Мачабели. Помимо большой общественной работы в Обществе распространения грамотности среди грузин, она была видным театральным деятелем, руководила драматическим кружком при Народном театре, вместе с такими крупными деятелями грузинской культуры, как Л. Месхишвили, В. Гуния, способствовала становлению грузинского театра.

Н. Чихладзе воскресила и имя Лидии Мгалоблишвили, печатавшей свои стихи под псевдонимом Имерели Кали. Одно из ее стихотворений стало народной песней.

Встречаемся мы в книге Н. Чихладзе и с видной общест-

венной деятельницей Анной Журули, — женой И. Имедашвили. После ареста мужа Анна на взяла на себя издание и редактирование созданного им журнала «Театри да цховреба», в котором сотрудничали А. Церетели, Я. Гогобашвили, Т. Дадиани, В. Гуния, И. Гришашвили, Г. Леонидзе. Все выдающиеся люди, бывавшие в Тифлисе, посещали ее дом. Бывал и читал там свои стихи С. Есенин.

В. Пшавела посвятил Анне Журули одно из своих стихотворений.

Пишет Н. Чихладзе и о жене Важа Пшавела, Тамаре Разикашвили, оставившей очень интересные воспоминания о нем.

Обнаружены и опубликованы ею исполненные глубокого чувства письма Г. Табидзе к Раисе Чихладзе. Благодаря этому раскрыта новая, неизвестная до сих пор страница жизни великого поэта. Н. Чихладзе обнаружила и опубликовала и стихи Г. Табидзе, посвященные Раисе Чихладзе, которая занималась переводами с французского, написала учебник грузинского языка для средней школы.

Да разве возможно перечислить всех грузинских женщин, вырванных Н. Чихладзе из небытия, отвоеванных ею у забвения! А работа исследователя продолжается с прежней энергией. И новые строчки ложатся на бумагу, и новые имена появляются в рабочих тетрадях...

Лидия ЗЛАТКЕВИЧ

Ушер СПЕКТОР

«ОБРАЗ ГРУЗИИ ЖИВЕТ В МОЕЙ ДУШЕ»

После свержения меньшевистского правительства Советская Грузия нуждалась во всесторонней поддержке. Одним из аспектов помощи молодой республике являлось создание здесь органа массовой печати — газеты «Заря Востока» (ныне орган ЦК КП Грузии, Верховного Совета Грузинской ССР и Совета Министров Грузинской ССР), у истоков которой стояли такие выдающиеся деятели нашей партии и государства, как С. М. Киров и Г. К. Орджоникидзе, а первыми редакторами были М. Орахелашвили и А. Мясников.

Газете предстояло провести огромную работу по практической пропаганде пролетарского интернационализма и социалистического строительства.

«В деле укрепления Зафедерации, — писал С. М. Киров, — огромную роль сыграла «Заря Востока».

В газете активно сотрудничали многие советские писатели и поэты — В. Маяковский, Д. Бедный, Я. Купала, Т. Табидзе, Н. Асеев, К. Паустовский, Л. Сейфулина, Э. Багрицкий, С. Есенин, Б. Ясенский, Г. Табидзе, П. Яшвили, С. Вургун, П. Павленко и другие.

Такое обилие известных имен породило даже ряд литературных шаржей, которые были опубликованы в книге, выпущенной редакцией «Зари Востока» в 1925 году в Тбилиси на правах рукописи. Назывался этот сборник «Тысяча зевков». Открывал его групповой шарж художника А. Любимова на Маяковского, Есенина, Сейфулину.

Но все это было потом. Вначале же надо было создать газету, редакцию, секретариат, найти опытных журналистов-газетчиков.

И вот для работы в редакции новой газеты «Заря Востока» из Одессы был приглашен Владимир Михайлович Ахобадзе-Ткачев, газетчик старшего поколения, авторитетный в журналистских кругах, впоследствии сотрудник столичных газет «За пищевую промышленность», «Рабочая правда» и других.

Его упоминает в своем письме ко мне сотрудник одесской газеты «Моряк» Яков Григорьевич Кравцов: «Я был знаком с В(ладимиром) М(ихайловичем) в Одессе, он был значительно старше меня»¹.

Николай Павлович Стор, работавший в «Заре Востока» со дня ее образования, также назвал мне Ахобадзе-Ткачева в числе своих первых учителей по мастерству репортажа.

В октябре 1924 года С. Есенин привел его имя среди многих других сотрудников редакции в своем стихотворении «Заря Востока»².

Вот этот самый В. М. Ахобадзе-Ткачев и пригласил для работы в «Заре Востока» Исаака Эммануиловича Бабеля, жившего тогда после возвращения из конармии Буденного тоже в Одессе. Уже упоминаемый Я. Г. Кравцов пишет следующее: «...Многие одесские газетчики знали Бабеля, но их уже нет в живых...».

Эту известность Бабеля среди одесских газетчиков можно объяснить тем, что еще до образования в Одессе отделения Югроста он работал заведующим редакционно-издательским отделом Госиздата Украины, имел много друзей в Одесском губкоме КП(б), дружил с его секретарем С. В. Ингуловым, ставшим впоследствии заведующим пресс-бюро Агитпропа, начальником Главлита страны, с которым также был хорошо знаком Ахобадзе-Ткачев, печатался в одесских газетах и журналах. В 1920 году, до ухода в конницу, им был опубликован в одесском журнале «Лав» цикл коротких рассказов — «На поле чести», «Дезертир» и другие. В сотом номере газеты «Моряк» от 23 июня 1921 года за подписью И. Бабеля появился первый и один из самых ярких его рассказов из одесской жизни «Король», принесший автору бурное признание литературной Одессы.

Именно в это время, наряду с произведениями названной серии, он начинает работать над столь несхожим с ней по теме циклом рассказов о конармии.

Громкая слава, широкое признание со всеми сопутствующими им последствиями отвлекали писателя, мешали ему работать.

Приглашение В. М. Ахобадзе-Ткачева было в этой ситуации как нельзя кстати, и Бабель дает согласие работать репортером в газете «Заря Востока» под псевдонимом К. Лютов, пользуясь тем же удостоверением, которое он получил при содействии С. Б. Ингулова от Югроста перед уходом в конармию.

¹ Письмо Я. Г. Кравцова от 3.06.1977 — автору.

² Сергей Есенин. Собр.соч. Т. V, М., ИХЛ, 1968, с. 195—196.

К тому времени И. Бабель, как и многие другие советские писатели (Д. Фурманов, Б. Лавренев, Л. Леонов и др.) начавшие свою литературную деятельность с газетных публикаций, не был новичком на этом поприще. В 1918 году он работал в петроградских («Новая жизнь», «Жизнь в искусстве») и одесских газетах, в 1920 году — в «Красном кавалеристе» (орган политотдела Первой Конной армии РСФСР).

Участвовал он от начала до конца и в польской кампании, разделяя со всеми ее тяготы и невзгоды. О возвращении писателя из этого похода его сестра Мария Эммануиловна Шапошникова сообщает следующее: «...Во время пребывания брата в Конной Армии письма получались очень редко. Они, конечно, не сохранились. Помню, что в один из дней отца позвали в «Росту» и сообщили, что брат, наверно, погиб. Отец скрыл это от матери и меня, но рассказал Евгении Борисовне. Она отправилась в район фронта на розыски. Через несколько дней брат вернулся, Евгений Борисовне удалось найти и вернуть (его) домой. Брат не был ранен, но изъеден насекомыми и страдал приступами астмы». В том же письме читаем: «...Он всегда был окружен молодыми начинающими литераторами...»¹.

Поскольку Ахобадзе-Ткачев сохранил тайну псевдонима Бабеля, в редакции никто не знал, что он и Лютов — одно и то же лицо.

Даже Н. П. Стор, работавший с ним за одним столом, только после его отъезда узнал, как и все в редакции, что Лютов — это Бабель.

Как бывшему сотруднику иностранного отдела Петроградского ЧК ему нетрудно было сохранить свое инкогнито еще и потому, что жил он в Тбилиси один, без семьи, снимая здесь комнату в доме № 13 по улице Грибоедова.

Обычно Бабель бывал в редакции не более недели, а затем, получив очередное задание, исчезал на две-три недели.

На редакционных летучках, на которых отмечались недостатки в работе репортеров, указывалось и на некоторые упущения Лютова.

По свидетельству Н. П. Стора, в свои приезды в Тбилиси К. Лютов охотно посещал клуб-ресторан «Химериони», задуманный как клуб работников искусств с открытым входом для всех желающих. Любимым напитком Лютова был чай. К вину он проявлял полное безразличие.

Однажды Бабель привез с собой в редакцию «Зари Востока» писателя Александра Грина² — высокого, худого, в шляпе. И. Бабель, А. Грин и Н. Стор вместе посещали помещавшийся в подвале нынешнего театра имени Руставели «Химериони», поражавший многих росписями таких художников, как С. Судейкин, К. Зданевич, Л. Гудиашвили, М. Тоидзе, Д. Какабадзе, З. Валишевский.

Бабель привез из Одессы сохранившийся по сей день дневник, который он вел, будучи в Конармии³. Тетрадь для этого

¹ Архив А. Н. Пирожковой.

² Из сообщения, сделанного автору Н. П. Стором.

³ Архив А. Н. Пирожковой.

дневника была взята писателем у отца, в те годы уполномоченного по сбыту и ремонту сельскохозяйственных машин в Одессе. Это была по существу конторская книга в твердом переплете с листами, разлинованными по вертикали и горизонтали красными линиями.

В правом углу страниц, а при повороте — в левом рукой Бабеля проставлены номера. Начинается дневник с 55-й страницы, так как предшествовавшие ей утеряны. Не хватает многих листов и в средней части. Всего в дневнике 204 страницы. Первая сохранившаяся запись относится к 3 июня 1920 года, последняя — датирована 15 сентября того же года. Большинство записей сделаны химическим карандашом и лишь немногие — чернилами. На страницах дневника встречаются черновики писем к жене, на внутренних сторонах переплета — записи разных имен и фамилий.

Сохранившиеся страницы и их датировка позволяют предположить, что писатель участвовал в походе с апреля — мая по октябрь 1920 года, то есть с начала его до конца.

Пользуясь дневником, Бабель в качестве своеобразного художественного приема использовал в конце своих рассказов датировку и указание места действия, от которых в дальнейшем, при повторных изданиях, он отказался.

Первый номер «Зари Востока» вышел 20 июня 1922 года. А уже через четыре дня в газете был напечатан первый очерк Бабеля — «В доме отдыха». Это дает возможность датировать его отъезд из Одессы концом мая — началом июня.

Поначалу постоянным местом жительства в Грузии писателя, его жены и сестры Мери было дачное место на побережье Черного моря — Зеленый Мыс. В те годы его связывали с Батуми редко ходившие дачные поезда.

В разъездах по Грузии, в кругу семьи на Зеленом Мысу, во время наездов в Тбилиси тетрадь в косую линейку всегда была при нем...

В восьми номерах «Зари Востока» напечатаны очерки, подписанные К. Лютовым. Привожу их названия: «В доме отдыха» (№ 5, 24 июня 1922 года), «Камо» и «Шаумян» (№ 6, 31 августа 1922 года), «Письма из Абхазии. Медресе и школа. Без Родины» (письмо из Батума) (№ 73, 14 сентября 1922 года), «Гагры ждут новых песен» (№ 79, 22 сентября 1922 года), «Табак» (письмо из Абхазии) (№ 112, 29 октября 1922 года), «Гагра» (абхазские письма) (№ 131, 22 ноября 1922 года), «В Чакве» (№ 141, 3 декабря 1922 года), «Абхазские письма» (ремонт и чистка) (№ 150, 14 декабря 1922 года).

Из них лишь очерк «Камо» и «Шаумян» был напечатан в сборнике «И. Бабель. Избранное» (Кемеровское книжное издательство, 1966, с. 273—277) и накануне 80-летия писателя под названием «У пристани...» в «Литературной газете» (№ 30 от 24 июля 1974 года).

Посвящен он возвращению двух русских кораблей — «Жорж» и «Эдвиг» («Россия» и «Мария») в Советскую Россию, где они получили новые имена — «Камо» и «Шаумян». Корабли эти должны были вернуться в Одессу. Очерк начина-

ется словами: «Если бы радость не теснила так сильно сердце, тогда об этом можно было бы рассказать последовательно и деловито». Радость теснила сердце не только вообще репортера Лютова, но бывшего сотрудника черноморской газеты «Моряк».

А вот как пишет он о прошлом в очерке «Гагры ждут новых песен»: «Все текло как положено. Дворцы пели. Хижины гнили».

В емких фразах очерков Лютова разворачивалась и набирала силу сгущенная бабелевская проза: «Прибой и отливы красных знамен. На модных курортах не стало больных, а у сиделок не стало хлеба. Грохот сражений на больших дорогах и присевшая на корточки тишина в глухих местах. Всероссийская буря выбрасывает ненужный щебень на дальние берега — трупы крыс, бежавших с кораблей».

Очерк «В Чакве» посвящен грузинскому чаю — его любимому напитку. В лишенном длиннот и излишеств материале мастерски описана технология изготовления чая.

В конце очерка репортера К. Лютова уже высвечивается пейзаж художника И. Бабеля: «...Над морем висит малиновый круг заходящего солнца. Из разодранных розовых туч течет нежная кровь. Она заливает своими цветистыми пожарами синие площади воды... Кроны хамеронсов и драценовых пальм недвижно окаймляют игрушечные дороги. Серебристая пыльная листва эвкалиптов пересекает алеющие равнины неба — и вся эта подстриженная пышность пьянит душу тончайшими линиями японских шелков».

Это относительно очерков, о которых точно известно, что их автор — Бабель. Между тем, по предположению Н. Стора, не исключено, что отдельные очерки и материалы писатель отдавал в печать без подписи.

В январе 1923 года Бабель возвращается в Одессу и с февраля того же года в местных газетах регулярно появляются его рассказы, объединенные шапкой «Из книги «Конармия» с указанием мест и дат по дневниковым записям в конторской тетради.

В том же году рассказы Исаака Бабеля появляются на страницах толстых московских журналов, сначала «Лефа» (№ 4, август—декабрь), а затем «Красной нови» и других.

К писателю приходят мировое признание и слава. Находясь уже на ее гребне, вот как расценивал он свою работу в качестве репортера, в частности в «Заре Востока», в связи с десятилетием которой 5 сентября 1932 года он писал в «Литературной газете»: «Работа на репортаже дала мне необычайно много в смысле материала и столкнула с огромным количеством драгоценных для общества фактов».

Отталкиваясь от этого материала, я стал писать тогда очерки и поднял ряд тем, которые впоследствии стали ходовыми в газетном и журнальном очеркизме».

А спустя пять лет, накануне 15-летия «Зари Востока», в посланном 16 июня 1937 года поздравлении Бабеля газете читаем: «С нервными померами «Зари Востока» связана счастли-

вая пора моей жизни в Тифлисе и начало литературной работы. Сотрудничая в газете, я ближе узнал природу и народ красной, щедрой поэтической Грузии! Образ ее живет в моей душе. Отражая волю и чаяния трудового народа, «Заря Востока», развиваясь вместе со своей страной, узнает, я верю, невиданный расцвет сил и возможностей.

И. Бабель»¹.

Вот еще одно имя замечательного русского писателя, начало литературной деятельности которого, по его же признанию, было связано с Грузией.

¹ «Поздравление, посланное Бабелем редакции, не было помещено (вместе с рядом других поздравлений) в газете, и я перелистал его себе на память в блокнот». Письмо Г. В. Бебутова от 15.03.78 года автору. Газета «Вечерний Тбилиси», Г. Бебутов. «Поэтическая Грузия» (Литературные заметки). 8 июля 1960 года.

Юрий БУРЛАКОВ

Возвративший легенду

Приют Ваццолер, стоящий в хвойном лесу под южной стеной Торре Венеции, представлял собой небольшое двухэтажное здание из серого тесаного камня с высокой трубой и маленькими квадратными окошками с железными ставнями. На первом этаже размещались кухня, уютный бар с макетом Чиветты, зал-столовая с камином, где висели на стенах фотографии знаменитых вершин, в том числе К-2 с автографом первовосходителя Лино Лачеделли. Второй этаж — спальные комнаты. Над кроватями альпинистов, как символ вечных страданий, висело белое резное распятие. Около хижины был разбит декорированный дворик, что-то вроде мини-парка, с дорожками, скамейками, столом.

Заведовал хижинкой «ла фамоза гиа альпина» (знаменитый гид-альпинист), покоритель десятка сложнейших доломитских стен Армандо Да Ройт.

Этого рыжеволосого, рослого, чуть раздобревшего сейчас восходителя широко знали за пределами Италии. Его имя всякий раз упоминается, когда говорят о пионерах освоения стен Чиветты, вместе с именами известных итальянских альпинистов, таких как Аттилио Тисси, Джованни и Альвиз Андрих, Мариано Де Тони, Чезаре Полладзон.

Выгоревшие брови и всеер разбегающихся от глаз морщин говорили о постоянном общении Тама — так, любя, называли Да Ройта итальянцы — с горным солнцем.

Он знал здесь все и мог ответить на любой вопрос, касающийся альпинизма. С особым смаком произносил он звонкие, как литавры, слова: аррампиката либера (лазание свободное), аррампиката артифичиле (лазание с искусственными опорами), страпиомбо (карниз), питоно (крюк), сесто градо суперьоре (шестая категория, супер).

Вечером 29 июня Миша — он был назначен руководителем альпинистской части экспедиции — провел совещание. Было решено, что первая связка Хергиани—Онищенко будет иметь неизменный состав, вторая — будет комплектоваться из остальных альпинистов по самочувствию. Намеревался тряхнуть стариной даже Ануфриков.

Окончание. Начало в № 2.

Первая связка выбрала для начала Торре Венецию по пути Тисси, маршрут пятой местами шестой категории трудности; вторая связка (Космачев—Кавуненко—Романов) взяла путь на ту же башню, но по маршруту Кастильоне, четвертой категории.

Утром 30 июня связки вышли на штурм. Обычно стена Торре Венеции проходится за семь-девять часов. Лучшее время — четыре часа — принадлежало Да Ройту. Это время и взял за ориентир Миша.

Он подошел к стене, оцупал скалы. Зацепки торчали как арбузные корки, кажется — нагрузишь и сломишь. Взялся за одну-другую, ничего: держат. Связка начала подъем по стене.

Тройка, вышедшая позже и довольно быстро всходившая по легкому пути на Торре Венецию, полагала, что двойка еще работает на стене. Каково же было ее удивление, когда она увидела гуляющих у хижины Хергиани и Онищенко.

— Зацепки как дверные ручки, лезлось хорошо, жаль, что стена быстро кончилась, — сказал Миша.

Он продолжал делать короткие записи.

«30.VI. В семь утра вышли из хижины. В восемь начали подъем. В одиннадцать пятнадцать были на вершине. Впереди шел я. Прошли очень быстро. Так еще никто не ходил. Это рекордное время. Советские альпинисты прекрасно защитили свою честь. Посмотрим, что будет дальше».

Итак, первый задел сделан.

«Иль Гадзеттино ди Беллуно» в репортаже «Шесть советских скалолазов и Тама говорят на языке, общем для всех гор» писала: «...Советские скалолазы уже взялись за веревку и крючья, совершив с блеском два ответственных восхождения. Восхождения, каждое высотой по 300 м, были сделаны по знаменитейшей Торре Венеции двумя отдельными связками: одно по маршруту Кастильоне было сделано тремя из шестерки в отличное время два часа с четвертью, при преодолении препятствий третьей и четвертой категорий сложности. Другая связка из двух человек совершила восхождение по более сложному маршруту Тисси, затратив на него три часа, время совершенно выдающееся, если учесть, что стена имеет участки шестой категории трудности. Эти два восхождения — визитная карточка, которую советские альпинисты предъявили любителям горного спорта, относящимся к ним с понятным любопытством».

Таким образом, была развеяна дымка таинственности, которой была окутана советская экспедиция по ее прибытии в Агордо.

Как мы уже писали, речь идет о цвете советского альпинизма, школу которого мы еще плохо знаем, но которая, вне сомнения, находится в авангарде Восточного мира».

...2 июля советские восходители вновь вышли на стены.

За работой гостей смотрели в этот день многие итальянские альпинисты. Не мог отказать себе в этом удовольствии и Армандо Да Ройт.

Король Чиветты наблюдал за восхождением на Банкон в двадцатикратный японский бинокль. Глаз его был наметан за свою жизнь в горах он повидал многих альпинистов. В том числе с мировыми именами, с некоторыми связывался одной веревкой. (Ценя его огромный опыт, итальянские газеты абонируют его, как авторитетного специалиста в вопросах горвосхождений). Сегодня Тама испытывал особое волнение: он хорошо помнил, какой ценой ему достался каждый кусок скал этого семисотметрового отвеса. В те достославные дни ему и Габриэлю пришлось ночевать на этой стене. Он был удивлен той стремительностью, с которой связка Хергиани—Онищенко начала продвигаться вверх. В бинокль он легко мог видеть скалолаза с мягкими кошачьими движениями, лидера связки. Альпинист быстро ориентировался и двигался без остановки, словно шел по тропе. И еще его поразило: со стены доносилось пение. Какой же смелостью надо обладать, чтобы совершенно забыть страх, столь извинительный для человека, лезущего по отвесу, и еще распевать.

Позже Да Ройт напишет: «Я видел многих альпинистов-лазунов в течение тридцати с лишним лет, я также имел возможность подниматься с известными альпинистами разных стран, но Хергиани превосходил всех».

Да, в тот день Миша был в ударе. Он шел с такой надежностью, что уходил на десятки метров от ближайшего крюка. Такое мог допустить альпинист, абсолютно уверенный в своих силах.

Комментируя это восхождение, «Иль Гадзеттино» писала: «...После двух прекрасных восхождений на Торре Венецию... советская экспедиция завершила вчера утром еще одно чрезвычайно сложное восхождение. Был повторен классический маршрут, проложенный Да Ройтом, агординским академиком альпинизма, вместе со знаменитым французским скалолазом Габриэлем на вершину Банкон — величественную стену, одну из самых известных в этом массиве, близ Торре Венеции. Восхождение было сделано за шесть часов, время, вызывающее уважение, так как маршрут, превышающий 700 метров, включает многочисленные препятствия шестой категории сложности».

Связка Космачев—Романов прошла Торре Венецию по пути Тисси за четыре часа, повторив время Да Ройта.

Принимая в тот день многочисленные поздравления, Миша чувствовал, что это триумф. Легенда возвращалась. Подумать только: всего три месяца назад он был больной, почти умирающий, а теперь... Его переполняло ощущение огромного счастья. Слава, отвернувшаяся от него на какой-то миг, вновь сияла ему в лицо — ярко, ослепительно! Теперь он ее никогда от себя не отпустит. Слишком дорого стоило ему ее короткое невнимание. Вся прожитая жизнь теперь вновь казалась цельной, счастливой, логичной, удавшейся.

Вечером Миша сделал последнюю запись:

«Селение Агордо произвело на меня большое впечатление. Думал, что нахожусь в Сванетии во время сенокоса. Жен-

щины сгребали сено и были одеты так же, как и наши горилки: одни — в черном (траур), другие — в пестром. Сено здесь помещают вверх на сеновале, а скот внизу, как и у нас. Сено носят на спинах. В Лагунвари я, помню, много раз носил сено так же. И орудуют граблями так же, как у нас. И я поработал немного. Они удивились — как я красиво косил».

Для следующих штурмов выбрали стены северо-западной экспозиции, расположенные в основном шатре Чиветты. Первая связка нацелилась на стену вершины Су-Альто (2.900 м). Протяженность стены — восемьсот метров. Миша считал это восхождение генеральной репетицией перед выходом на рекордный подъем по левой щече Чиветты.

Вторая связка, теперь уже в составе Космачева и Кавуненко, выбрала стену вершины Торре ди Вальгранде (2.752 м). Протяженность стены — шестьсот метров. Трудность обеих стен предельная — сesto градо суперьоре.

Впервые стену Су-Альто прошла французская связка Ливанос—Габриэль. Этот путь за восемнадцать лет повторили считанные альпинисты — слишком труден подъем.

Стена начиналась с крутого расчлененного участка, затем переходила в заглаженную, отвесную среднюю часть с козырьками и карнизами и только перед вершиной чуть ложилась.

Ранним утром 4 июля две двойки вышли из хижины Ваццолер, прошли вместе по тропе до плато Лоры и, пожелав друг другу удачи, расстались. Одна связка направилась к подножию Су-Альто, другая — дальше, за главную Чиветту.

Чуть позже к Су-Альто подошли наблюдатели — Ануфриков и Романов.

На седьмой день пребывания в Доломитах первая связка начала штурм третьей шестерки. Пройдя в одновременном движении нижние легкие скалы, альпинисты начали пересекать снежно-ледовый склон. Впереди пока шел Вячеслав, рубил и вытаптывал ступени — он был в вибране.

Миша был обут во французские скалолазные туфли и на этом отрезке, а также на первых метрах мокрых и обледенелых скал двигался вторым. Он вышел вперед от первого стартового крюка, там где скалы резко вздыбились.

Сколько раз Вячеслав наблюдал вблизи, как работает на отвесах Миша, и не мог утолить восхищения: техника Тигра была безупречной. Было просто непонятно, как он мог держаться на заглаженных скалах, смело откидываться от стены, просматривая следующий участок.

Скалы все более усложнялись. Пошли нависающие плиты, карнизы. Однако темп движения лидера не сбавлялся.

Дошли до маленькой ниши — ночевки первопроходцев. Сделали короткую остановку. Подкрепились шоколадом, попили из фляги воды. Отсюда, с середины стены, хорошо просматривалась зеленая долина. По альпийским лугам бродили стада, слышался перезвон колокольцев, доносились голоса пастухов.

— Закрою глаза и думаю, что я дома, в Сванетии, — сказал Миша.

К тринадцати часам связка преодолела шестьсот метров стены и находилась рядом с перегибом, от которого началось легкое выполаживание.

Наблюдатели уже считали, что на Су-Альто делов сделано и можно переходить под Вальгранде — связке оставалось пройти полверевки трудных скал.

Путь преграждала огромная нависающая плита. Ее можно было обойти справа или слева. Внешне варианты были равноценны.

Лидер выбрал второй.

Вячеслав внимательно страховал, следя за движениями партнера. Миша с помощью трехступенчатой лесенки — место было неудобное — прошел траверсом влево метра на четыре (лесенку не снял, оставил напарнику), вошел в камин и, поднимаясь по нему, скрылся из виду. Из камина доносилось пение.

«Когда трудно, я пою наши песни. Я вспоминаю, что на родине переживают за меня... Я пою наши песни и снова делаюсь сильным».

Вячеслав следил за движениями веревки, медленно уползающей вверх. Через минуту — другую послышался камнепад, и он увидел невероятное: сверху вместе с камнями из камина вывалился Миша. Первая мысль — мягко погасить рывок и удерживать партнера. Он вложил в страховку все свое умение. Рывок — резкий, сильный... Но почему веревка сразу ослабла? Он потянул ее на себя и понял: обрыв! Наверное, одним из камней веревка была перебита.

Второй веревки, а с ней и лишнего шанса на спасение сорвавшегося, у связки не было. Ради скорости Миша ходил в этом сезоне на одинарной. Слишком много он возлагал на этот сезон.

Вячеслав видел, как, стремительно набирая разгон, падал со стены партнер. Тигр летел вниз сгруппировавшись, выставив руки и ноги, словно еще надеясь таким способом смягчить удар. Он пролетел в чистом падении более сотни метров, прежде чем ударился о скальный выступ. Потом тело его падало бесконтрольно, билось о скалы низа стены, о стенки узкого с остатками льда кулуара и, наконец, остановилось на снежнике. Было жутко во все это поверить: внизу, за бергшрудом, на глубине шестисот метров виднелась неподвижная красная точка. Как врач-травматолог он понимал, что означает падение на такую глубину.

В нахлынувшей лавине мыслей, самоупреков, душевной боли он чуть было сам не бросился вниз, чтобы одним махом покончить со всеми муками и поставить точку. Вторую...

— Закрепись! — кричали ему снизу. — Закрепись!

Внемля зову команды, он стал закрепляться.

Весь путь падения Миши видел в бинокль Романов — от «сорвался» до «упал».

Спешно переобувшись в ботинки-вибрам, взятые у находившихся рядом на учениях итальянских солдат-артиллеристов, Ануфриков и Романов бежали по снежнику, чтобы подняться к горловине кулуара.

— Сообщите в ближайшую хижину КАИ о несчастье с советским альпинистом. Пусть принесут носилки, — попросил Ануфриков офицера.

— Нужен ли врач?

— Я — врач, — ответил Романов.

Чем ближе подбирались наблюдатели к Мише, тем более гасла надежда.

Под разрывом бергшрунда, на нижней его грани лежало изуродованное тело.

..Виссарий знал, где похоронить сына. В Сванетии. Сван должен быть погребен в родной земле. Так требовали правила, а правил он никогда не нарушал. Отца просили дать согласие на захоронение в Тбилиси, в Дидубийском пантеоне. Говорили, что землю можно привезти из Местиа и тогда требование «в родной земле» будет выполнено.

— Здесь он затеряется, — сказал Виссарий. — В Сванетии — никогда.

..Самолет с телом Хергиани летел над горами Кавказа. Вот и Сванетия. Но не на посадку пошел самолет, он взмыл вверх, к Бангуриани, вершине первого альпинистского крещения Миши, потом развернулся над перевалом Башиль, прошел над Уллу-Тау-Чаной, над гребнями Далла-Коры и Чатына, и направился к Ушбе. Самолет облетел ее на высоте седловины в непосредственной близости от знаменитых стен. Пилоты понимали — не мог Хергиани лечь в землю, не попрощавшись с вершинами.

Тысячи горцев молча следили за этим кругом прощания.

...Длинная людская река соединила Лагами с центром Местиа. Впереди шествия рядом с портретом Хергиани шел его последний напарник.

Митинг.

Предпогребальное оплакивание.

Все смешалось здесь, не враждую, — и идейные речи, и обрядовые слова, и почетные караулы, и тонкие свечи, и черные одежды, и красные пионерские галстуки.

Никого и никогда не провожала так Сванетия.

... — Скажи, Виссарий, почему ты разрешил схоронить сына не на тихом фамильном кладбище, а у шумной площади? — спросил на поминках строгий родич.

— Сын давно уже не лично мой. Будь он только моим, я бы не пустил его на многие восхождения. Он давно принадлежит народу.

— Да, — согласился родич, — он накрыл нашу землю золотой шалкой.

...1972 год, 8 июля. Яркий солнечный день. Белое покрывало падает с высокого памятника: базальтовый Тигр скал смотрит вверх на горы.

И вновь гремели многосложные песни. Но печального «зари» здесь уже не было. Сваны пели «Лиле» — песню о солнце, любимую песню Миши, и «Квириа» — песню о человеке, прожившем достойную жизнь.

АЛЬПИНИЗМ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

041935940
3032111033

Альпинисты довоенных времен хорошо помнят Келешби Ониани. Много лет тому назад мне пришлось идти на вершину в одной связке с ним. Это было не первое мое восхождение. Я уже видел много вершин и многих альпинистов, видел, как ходят наши, как ходят иностранцы, но Келешби меня потряс. Ничего подобного я до того еще не видел. Мы поднимались по сложенной из твердых пород скальной стене, уклон местами достигал 80—90 градусов, иначе говоря, это был отвес, и меня поразила та легкость и плавность, с которой шел Келешби. Я говорю шел, потому, что он действительно шел, а не лез. Скала как будто сама стелилась под ним. Так свободно, как шел Келешби, только танцуют вальс. И тогда, на этих кручах, над бездной мне подумалось, что непременно нужно написать про Келешби то ли повесть, то ли очерк, хоть газетный репортаж, но написать непременно и озаглавить: «Вальс на вершинах». Мне было просто непонятно, как все это у него получалось, откуда на стене так много опор, когда их почти не было, как он держит равновесие на этих, едва выступающих неровностях скалы, как он видит «путь», единственно возможный путь на этих гладких скалах. Всему этому нельзя научиться в школе альпинизма, ни один тренер этого дать тоже не может. Для этого нужно иметь талант. Сравнить таланты очень трудно, может быть, даже невозможно, так как необычное в таланте сугубо индивидуально. Келешби Ониани принадлежал к плеяде грузинских альпинистов 30-х годов. Именно в 30-х годах в грузинский альпинизм пришла целая группа талантливых альпинистов высшего класса: Алеша Джапаридзе, Иван Марр, Габриель и Бекну Хергиани, Чичико Чартолани, Максим Гварлиани. Их появление на спортивной арене альпинизма не было случайным. Это было закономерно, закономерным было и время и место их появления. В альпинизме главное не только мастерски ходить, не менее важно хорошо вникнуть в то сложное искусство, которое называется альпинизмом, надо видеть и понять то, что стоит за альпинизмом, еще более высокое и возвышенное, что за каждой вершиной стоит другая, главная. Если мы будем говорить об альпинизме в самом широком его понимании, имеющем связь со многими отраслями науки и многими сторонами общественной жизни, которым нужен альпинизм и которые нужны альпинизму, то для такого альпинизма, его существования и успеха, необходимо покорить и ту, другую, с первого взгляда, может быть, призракоподобную, но все же реально существующую вершину. Такое умение было у Алеши Джапаридзе, и поэтому именно он сумел дать такой широкий размах грузинскому альпинизму в предвоенные годы. Альпинисты 30-х годов получили эстафету от альпинистов 20-х годов, первых советских альпинистов. Каждое поколение наших альпинистов вырастало непосредственно из среды предыдущего поколения, и что главное—разрыва между ними не было, ни во времени, ни в творчестве. Плавность перехода от поколения к поколению и давала возможность продолжать непрерывную нить альпинистского творчества. Иначе и быть не могло, поколения следовали друг за другом, но не повторяли друг друга. Деление альпинистов на плеяды опре-

деленных годов весьма условно, потому что многие альпинисты 30-х и 40-х годов продолжали действовать и в 50-х годах. Я имею в виду наших ветеранов: Ивана Марра, Бекну Хергиани, Чичико Чартолани, Годжи Зуребиани, Максима Гварлиани, Виссариона Хергиани, Дмитрия Оболадзе. Они не только продолжали действовать, но и показали свои лучшие результаты именно в 50-х годах. Плеяда альпинистов, которая вышла на спортивную арену в 50-х годах,—Михаил Хергиани, Иосиф Кахрани, Джумбер Медзмаришвили, Теймураз Кухианидзе, Илья Габлиани, Леван и Зураб Ахвледиани, Реваз и Отар Хазарадзе, Дмитрий Дангадзе, Аги Абашидзе, Созар и Джокья Гугава и другие—годами ходила вместе с предыдущей плеядой, вплоть до конца 50-х годов, так что и грань между ними стерлась.

Михаил Хергиани, родившись в альпинистской семье Виссариона Хергиани, с юных лет был причастен к среде альпинистов. Начав путь альпиниста в массовом восхождении, которым руководил Сандро Гвалия, первое признание большого альпиниста, первую свою золотую медаль чемпиона СССР получил в экспедиции Грузинского альпийского клуба им. А. Джапаридзе в 1955 году за восхождение на высочайшую вершину Советского Союза — пик Коммунизма (7.495 м). Четыре альпиниста, великолепная четверка—Иосиф Кахрани, Михаил Хергиани, Джумбер Медзмаришвили и Леван Ахвледиани взойшли на пик Коммунизма по новому пути — со стороны ледника Гармо. Тем самым плеяда альпинистов 50-х годов сказала свое веское слово в развитии советского альпинизма. Но экспедиция? Коллектив, который обеспечил успех? В экспедиции участвовали и представители предыдущих поколений: Максим Гварлиани, Дмитрий Оболадзе и Годжи Зуребиани, Максим Гварлиани и Дмитрий Оболадзе, взошедшие вместе с «великолепной четверкой» на пик Россия и пик Правды, завоевали серебряные медали сезона в конкурсе за лучшее восхождение по классу высотных восхождений. Именно соединенные вместе опыт «стариков», энергия и задор молодых обеспечили успех.

Несколько раз приходилось мне участвовать в альпинистских экспедициях вместе с Михаилом Хергиани, и я не случайно начал свой рассказ с Келешби Ониани. Михаил Хергиани мне во многом напоминал Келешби: та же легкость движений, изумительная способность находить точки опоры там, где их практически не было, поразительная интуиция в выборе пути, тот же стиль. Михаила Хергиани называли Тигром скал, но это не совсем точно, он был тигром и в скалах, и во льдах. Он был преемником грузинских альпинистов 30-х и 40-х годов, наследовавший, но не повторивший их завоеваний, проложивший новые пути. Традиции не нарушились, нить преемственности не прерывалась.

Прошло уже почти 10 лет со дня гибели Михаила Хергиани, время немалое, но он не только не забыт, его популярность со временем неуклонно возрастает. Явление редкое в спортивном мире. К сожалению, к большому сожалению, прекрасных спортсменов часто предают забвению очень скоро после того, как они покинули спортивную арену, а после смерти тем более. Чем же объяснить, что Михаил Хергиани не разделил судьбы тех многих спортсменов, которым рукоплескали сотни тысяч зрителей на стадионах разных континентов мира, выступления которых смотрели миллионы и мил-

лионы телезрителей нашей планеты? Ведь М. Хергиани был альпинистом, т. е. спортсменом без зрителей и его «выступления» смотрели только единицы, только те, которые ходили вместе с ним на восхождение. А сколько же их было? Может быть, 100, может быть 1.000, в крайнем случае, 10.000, но и этого мало, очень мало, чтобы превзойти в популярности спортсмена с многомиллионной аудиторией. А популярность М. Хергиани проявляется не только в том, что его хорошо помнят в народе, в широких кругах всех слоев общества, даже в тех, которые ничего общего со спортом не имеют и не увлекаются им, но и в том, что о нем продолжают писать статьи, и книги, создавать кинофильмы, и уже можно говорить не только о биографе, но и о биографах Михаила Хергиани. Еще живы соратники М. Хергиани, а он уже стал обрастать легендами. Я бы не сказал, что все, что написано о М. Хергиани, было удачным. Не знаю, с умыслом или без умысла, но некоторые в своих попытках написать биографию М. Хергиани и тем самым воссоздать его образ своей нездоровой и неудержимой фантазией наводят тень на его личность. Из всего того, что написано о М. Хергиани, наиболее удачными надо признать очерк Е. Симонова в сборнике «Спортсмены», вышедшем в серии «Жизнь замечательных людей», и книгу Ю. Бурлакова «Восходитель», которая в скором времени увидит свет в издательстве «Физкультура и спорт» и главы из которой предлагает читателям журнал «Литературная Грузия».

М. Хергиани и связанная с ним тема альпинизма привлекла и киносценаристов. Я уверен, Михаил Хергиани будет привлекать внимание киносценаристов и в дальнейшем. Поэтому хочется сказать несколько слов тем, кто обратятся к этому герою. Хочется сказать потому, что альпинистским художественным фильмам не везет. Тема альпинизма как кинематографическая тема не только заманчива, но и обманчива. В основе сюжета сценария невольна — непременная гибель, почти фатальный трагический конец жизненного пути альпиниста, и приходится идеализировать эту гибель (говорю так потому, что Михаил Хергиани погиб во время восхождения). Гибель человека оправдана тогда, когда гибель — подвиг, а попытайтесь доказать, что гибель альпиниста подвиг. Пока это не удалось ни одному сценаристу, потому что у подвига должно быть логическое оправдание. А какая же логика у гибели альпиниста? Ю. Бурлаков приводит цифру — 200 смертных случаев только в послевоенный период, а после того, как Ю. Бурлаков написал эти строки, прошло еще два альпинистских сезона, и эта цифра изрядно увеличилась. Что это за страсть ходить на горные вершины, что за «вид отдыха»? Здесь тупик и для киносценариста, и для режиссера. Фильм победит только тогда, когда покоренный героем фильма зритель готов повторить его подвиг, даже если финал его трагичен. В лучшем же случае зритель пока только жалел погибшего альпиниста, не видя ни логики, ни смысла в его восхождениях. Другую причину неудачи альпинистских фильмов я вижу в том, что главным героем фильма вместо людей становятся горы, а фоном становятся люди. Чрезмерное увлечение видовыми съемками, акцент на внешних приметах, широкое вторжение документалиста и его приемов стало характерно для многих игровых картин последних лет. Но если в отношении других фильмов можно спорить о том, хорошо это или плохо, то для альпинистских игровых фильмов, как это

ни парадоксально (при наличии такой прекрасной фактуры, как горы, особенно в эпоху цветного кино), такое вторжение убийственно. Правильно писал режиссер А. Михалков-Кончаловский в своей книге «Парабола замысла», что в фильме важно «в конце концов добиться не правды внешних примет, а правды человеческой души». Вот эта самая человеческая душа и исчезает, растворяется, становится безликой на фоне прекрасного пейзажа. Я не кинематографист и не могу судить с профессиональной точки зрения, но по моим кинозрительским наблюдениям за последнее время в сферу игрового кино широко вторгается документализм и его приемы. В альпинистских же документальных фильмах происходит совершенно противоположное явление. Я в данном случае имею в виду «документальные» альпинистские фильмы, снятые профессионалами, которые по сути дела стали игровыми. Мне два раза пришлось присутствовать на международном кинофестивале горных и альпинистских кинофильмов в г. Тренто (Италия). Присутствовал я там с разрывом во времени в 13 лет — в 1960 и 1973 гг., и надо сказать, тенденция вторжения игрового кино и его приемов в профессиональное документальное кино все нарастает. Хорошо помню прекрасный короткометражный документальный фильм о восхождении на вершину Пти Дрю по стене в районе Монблана. Большой сенсацией явилось в конце 50-х годов в альпинистских кругах Европы покорение итальянцем Бонатти вершины Пти Дрю по стене в одиночку. Французские профессионалы-документалисты решили создать «документальный» фильм о восхождении Бонатти. По заданию кинодокументалистов известный швейцарский альпинист Албер Воше повторил маршрут Бонатти по стене Пти Дрю. Во время восхождения А. Воше «играл» роль первовосходителя. Объектив кинокамеры неотступно следил за восходителем, и в этом документальном фильме главным было не то, как шел Воше-альпинист, не его технические приемы, а его переживания, его эмоции, его печали при неудачах и радость при победе. Фильм покорила зрителей, при этом не надо забывать, что на кинофестивале в Тренто присутствовал цвет мирового альпинизма, но в зрительном зале были и неискушенные, просто случайные зрители. Как профессиональные альпинисты, так и зрители, не имеющие к альпинизму отношения, одинаково оказались покоренными этим фильмом.

И наконец, можно ли сделать хороший художественный альпинистский фильм, после которого зритель не задавал бы вопроса: почему же люди ходят покорять вершины? Да, можно, пример этому прекрасный игровой фильм, снятый французскими кинематографистами, — «Полуденные звезды». Причина успеха этих фильмов, как документально-игровых, так и игрового одна: постановщики обратили основное внимание не на «правду внешних примет», а на «правду человеческой души».

Так обстоит дело в кинематографе. Как будто все ясно, все просто и одновременно все так трудно и сложно. Но как быть в биографической повести, в такой, например, как повесть Ю. Бурлакова «Восходитель» с темой гибели? Хотя законы художественного произведения (именно к такому разряду произведений, по моему мнению, и относится документальная повесть «Восходитель») и кинематографа совершенно различны, но сюжет остается сюжетом и психология зрителя и читателя едва ли резко различаются между

собой, ибо это одно и то же лицо. Как быть в данном случае? Повесть документальная, человек, о котором идет в повести речь, реально существовал и погиб во время штурма вершины, поэтому гибели героя в фильме уйти нельзя. Гибель здесь — кульминационная точка фильма. Поймет ли массовый читатель (ведь альпинистов не так много) Михаила Хергиани, поймет ли он всех нас, альпинистов? Захочет ли читатель, прочтя повесть «Восходитель», сам стать альпинистом, или, наоборот, никогда не пойдет в горы не только сам, но и запретит своим детям и внукам? «Победит» ли повесть «Восходитель» в «битве» с читателем? А уже необходимо побеждать, ибо любители других видов спорта сами имеют возможность смотреть спортивные выступления, сами оценивают их, все происходит на их глазах, они все и так хорошо знают о данном виде спорта, без ознакомления с литературой. Другое дело альпинизм: широкие круги нашей общественности имеют представление об альпинизме только по прочитанному, воспринимают его так, как преподнес автор. Прочтя повесть «Восходитель», читатель, естественно, вспомнит о многих других погибших в горах, а такая ассоциация может создать у него мнение об альпинизме совершенно противоположное тому, которого добивался автор. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мною лежат выводы комиссии Федерации альпинизма СССР по случаям аварий, происшедших с альпинистами в сезоне 1978 года. Как правило, все они — результат ошибок, допущенных во время восхождения или ее подготовки, а раз аварии — результат ошибок, тогда их можно было избежать и тем самым сохранить человеческие жизни. Самая маленькая, самая незначительная ошибка или недосмотр, малейшее ослабление внимания могут обернуться и оборачиваются трагедией в альпинизме. Советский альпинист имеет свой стиль и, может быть, также свою философию, которые резко отличают его от буржуазного альпиниста. Человеческая жизнь у нас превышает всего. У нас проводится огромная работа по предотвращению аварий, тратятся огромные материальные средства для обеспечения безаварийности в альпинизме, и мы достигли многого. В советском альпинизме по сравнению с альпинизмом других стран аварийность гораздо ниже. Поэтому все, а не только те, которые идут покорять вершины, должны знать, что во время восхождения у альпиниста всё: знание, опыт, внимание, зрение, слух и сила мускулов — должно быть на мобилизационном пределе. Можно ли в результате добиться полной безаварийности в альпинизме? Можно, если все будет в точности соблюдать правила горовосхождения. Но будут ли? Можно ли достичь полной безаварийности в дорожном движении? Во всяком случае, мы должны стремиться к этому. Именно здесь свое слово должна сказать литература об альпинизме, в которой главное не в том, пишут авторы об авариях или нет, а в том, в каком плане и как их трактуют. Мы должны думать о тех, кто получит в наследство от нас альпинизм 70-х годов.

Отар ГИГИНЕИШВИЛИ,
председатель президиума Федерации альпинизма
Грузинской ССР, заслуженный тренер СССР.

Зоя МАСЛЕНИКОВА

ПОРТРЕТ ПОЭТА

10 августа 1959 г.

Он опять принимается говорить о портрете.

— Боюсь, что если вы будете еще что-то уточнять, то уже мне придется меняться, чтобы быть похожим на портрет.

— Не выдумывайте. Но, кажется, менять я больше не буду. Между прочим, мне стало легче работать с тех пор, как я выяснила свои отношения с абстрактным искусством. Для меня теперь это кажется просто. Нереалистического искусства не существует. Все остальное самостоятельного, конечного значения не имеет и служит лишь лабораторией для него.

— Ну да, ну да, я именно это и говорю. Нет, нет, я вам этого не говорил, но совсем недавно я писал об этом. Модернизм существовал всегда, но это отходы, а искусство может быть только реалистическим.

— Мне важно было разобраться потому, что абстрактное искусство имеет для меня свою притягательную силу.

— Оно для вас притягательно, правда? Это сказывалось в том, что вы какую-то идею хотели внести?

— Скорее в чисто формальном смысле, в слишком вольном обращении с формой. А как относятся на Западе к таким вашим высказываниям?

— Они встречают сочувствие, там ведь немало людей, ценящих реализм. Есть в Америке такой журнал «Encounter», его редактор Спендер. Один из самых крупных поэтов сейчас Оуден, а это второй за ним. В его журнале было уже четыре статьи обо мне, в том числе статья Уилсона, о которой я вам говорил, он во всем усматривает аллегии. Я в каком-то письме к частному лицу написал, что такое толкование меня удивляет. Редактору стало об этом известно, и он предложил мне написать статью с изложением моих взглядов на это. Ну, статью я не имею право писать, а письмо ему напишу.

Продолжение. Начало в № 10—11 за 1978 год и в № 2 за 1979 год.

— А вы хоть сохраняете черновики?

Он в ужасе.

— Терпеть не могу эту бумажную канцелярию! Я так не люблю себя прежнего, что избегаю тех мест, где есть ^{пазлы} ~~пазлы~~ ^{следы} ~~следы~~ моего прошлого.

Помолчав, он спрашивает, в какой день я еду.

— В пятницу. Но в четверг я приду.

— Может быть, я смогу вам попозировать, может быть.

— Тогда приходите с такой прической, как сейчас. И вообще вам надо так носить волосы без пробора, вот зеркальце, посмотрите.

— А, спасибо. Наверно, не в проборе дело. Просто я себя очень хорошо чувствую. Нет недостатка в сне, и совесть не очень отягощена. Нет, не то чтобы я был доволен собой, но день кончается с ощущением, что сделано все, что можно было, а это очень молодит. Татьяна Матвеевна, идите, посмотрите! — зовет он домработницу. — Правда, теперь хорошо?

Но уже четвертый час, он уходит, а через полчаса ухожу и я, и на дорожке, ведущей вдоль дачи к шоссе, мы с ним опять встречаемся. Он решительно загораживает мне дорогу, снимает кепку и снова церемонно целует руку.

— Я еще раз хочу вам сказать, что работа очень хорошая, и я рад, что с вами познакомился.

13 августа 1959 г.

В кухне, куда я зашла, как всегда за ключом, была Алена, невестка Б. Л. Видимо, по его просьбе она позвала своего мужа — старшего сына Б. Л., Евгения, и Александра Леонидовича, чтобы они помогли мне переставить станок. Они пришли рассматривать портрет и высказываться, и Евгений пригласил меня посмотреть в «рояльной» рисунок Леонида Осиповича, сделанный осенью в 1916 году, когда Б. Л. было 26 лет.

Я принялась за работу, а через час пришел Б. Л.

— Вы сейчас хотите позировать?

— Да. И только полчаса. Накопилось множество дел, получил телеграмму из Союза. Что они вам там наговорили? Не слушайте их. И зачем-то потащили отцовский набросок показывать. И что он выдумывает — подбородок. Вон как у меня торчит подбородок, — показывает он на фотографию.

— Это не страшно. А что за телеграмма из Союза?

Он объясняет и спрашивает:

— Ну, вы чувствуете, что едете?

— Нет.

— Как вам не стыдно! То, что вы едете, гораздо важнее вашей работы здесь. Нет, не портрета, а того факта, что вы сегодня здесь работаете. Когда пароход отчаливает?

— В десять вечера.

— Ах, в десять вечера. Ну, вы сразу ляжете спать, а утром проснетесь, и будет, наверно, солнечно, будут успокоительно так работать машины. Шум машин похож на шум спиртовки — вы этого не застали, а в моем детстве молоко кипятили по утрам на спиртовках, и они ровно гудели, молоко

вскипало очень долго и вкусно пахло чистым пламенем. Вы встанете, и мимо вас спокойно будут проплывать освещенные солнцем берега...

Он вовлекает меня в неначатое путешествие, задает то-нальность будущим впечатлениям, вникает в подробности, дает советы.

Потом я спросила:

— Борис Леонидович, а что это за «Письма из Тулы»?

— Вы их прочли?

— Нет, только держала в руках...

Он очень заинтересовывается, и я ему рассказываю, что нашла на выставке сборник, в котором были «Письма из Тулы».

— Вся моя прежняя проза очень слабая. Это я написал в 1917 году.

— Вы, конечно, не знаете, когда кончите пьесу?

— Нет, не знаю. Но надо сделать в этом году, иначе она станет вообще нереальной. Сейчас в доме много народу, и это несколько отвлекает. Дом сейчас на восемь - девять человек...

— Может быть, осенью вам легче будет писать.

— Нет, я очень люблю лето, хорошо переносу жару. Я почти идеально устроен, у меня большая комната, вы ведь там были, легко устроить проскваживание. Я закрываю шторы, в комнате темно, и пишу при косом свете, падающем в щели.

— Я сегодня впервые разговаривала с вашим старшим сыном. У него костяк и пропорции лица ваши.

— Ну, разве что костяк. Выражение и цвет лица совсем другие. Вот кто на меня действительно похож, так это внук Петя. Вы его видели?

Полчаса давно прошли.

— Когда я говорю, что буду позировать только до такого-то часа, а потом задерживаюсь, то это не потому, что я тряпка или что я с вами заговариваюсь, а потому что работа удачная, вы делаете хорошее дело — почему же не помочь?

— Спасибо, Борис Леонидович. Что вы думаете сейчас о Прусте после того, как его прочли?

— О, это долгий разговор. Отложим до вашего возвращения.

— Но вы нашли тот философский смысл, который искали? В чем секрет найденного, возвращенного времени?

Медленно, тщательно подбирая точные слова и останавливаясь для размышлений, он говорит:

— У Пруста есть такая мысль. Иногда какая-нибудь мелочь вызывает в памяти пережитое. И мы испытываем блаженство не потому, что вспомнили что-то дорогое, вспоминать мы можем и произвольно, а оттого, что ощущаем одновременно две точки во времени — прошлую и настоящую. У Пруста есть такое: он поскользнулся на плитках, покачнулся, но не упал — и вспомнил, что так же поскользнулся и не упал на плитках площади Сан Марко в Венеции, и ощутил блаженство. Это потому, что такое ощущение двух точек сразу вырывает

нас из неволи времени и приобщает к тому, что условно можно было бы назвать вечностью. Это очень верное наблюдение.

Я говорю, что не могла достать «В поисках утраченного времени» по-французски, начала по-русски, бросила ~~перевод~~ перевод был ужасный. Сложные периоды Пруста в оригинале не вызывают у меня никаких затруднений, а в переводе было невозможно читать.

— Вот был перевод «Дон Кихота». Появился новый, говорят, очень хороший. Там переведены все испанские завитушки Сервантеса. А на что они мне, когда я сквозь них не могу пробиться к смыслу. Я прежде всего хочу смысла, содержания. Нет, это не значит, что я проповедую сейчас примитивную пошлость. Мысль может быть какой угодно глубокой, но изложена должна быть ясно.

Короче, простоял он больше часу. Наконец я сама отпустила его.

Прощаясь, он говорил:

— Желаю вам хорошо отдохнуть, выбросьте все из головы и ни о чем не думайте. Хорошо?

И уходя, все осыпал меня пожеланиями и напутствиями.

4 сентября 1959 г.

Я вернулась из путешествия, хорошо отдохнув и полная жажды работать. Только приготовилась к лепке, как вошел Б. Л.

— Как вы съездили? — спросил он, здороваясь.

— Чудесно.

— Я рад за вас. Я вам принес две фотографии, это летние, этого года. Снимал один моряк с «Паллады» (так мне по-слышалось) а потом сам со мной снялся. По-моему, очень удачные снимки. Вы возьмите с собой в Москву, переснимите, может быть, увеличите, а то я у вас заберу, у меня только один экземпляр.

Мы сговариваемся, что позировать он будет в понедельник 14-го, а я приеду в понедельник 7-го поработать без него.

— Ну, как вы? Писали? — спрашиваю я его.

— Да, я каждый день пишу два часа утром. Пьеса продвигается. Она вполне реальна, осуществима, я ее вижу, но если б можно было проснуться и увидеть ее написанной! А потом меня начинает лихорадить ожидание писем. Приходит много приятного, и это щекочет. Это нехорошо.

— Борит Леонидович, выходит двухтомник Словацкого. Ваш перевод там будет?

— Не знаю, вероятно. Вы уехали до Венского конгресса молодежи?

— Во время него. А что?

— Там уже задавали обо мне вопросы и, кажется, даже дискуссия была. Меня выдают за талантливого переводчика. Когда я это слышу, меня взрывает. Сейчас переводится очень много; переводят все, Ахматова переводит. Перевод стал очень распространенным видом литературной работы. Но ведь это существование за счет чужих мыслей. Лучше быть талант-

ливой буханкой черного хлеба, чем только талантливым переводчиком!

— Поэтому вам и не хочется переводить Кальдерона?

— Ну да. Были еще другие мелкие просьбы. Был, например, первый настоящий чешский поэт Незвал, он современный поэт, сюрреалист. Незвал почитал меня. Об этом известно. Его вдова просила меня перевести из него. Ну, я пойду, еще часок поработаю. Известие о том, что вы здесь, застало меня за пьесой.

Портрет стоит слишком низко, в невыгодном освещении, я прошу его не смотреть, но он не слушает.

— Теперь уже портрету ничего не страшно. Это лучшее из всех моих изображений.

14 сентября 1959 г.

Шел дождь. Я провозилась с портретом около трех часов, и тут пришел Б. Л. Он был в синем плаще, кепке, которую снял, войдя ко мне, в сапогах и с зонтом. У него было опечаленное, взволнованное лицо. Он потянулся ко мне, поцеловал и сказал:

— Зоя Афанасьевна, я вас надуваю. Вы завтра можете приехать?

— Завтра — нет, послезавтра — смогу.

— Хорошо, тогда в среду. Я вам рассказывал, что я поссорился с одним нашим другом?

Я кивнула.

— Зинаида Николаевна позвонила ему и сказала, что он может приехать. Но он поссорился с женой и приехал без нее... Мало этого, он привез целую ораву, наверно, похвастался соседнему столику в «Национале», что может им меня показать. Прямо как у Достоевского, вы помните, у него все знакомства начинаются с того, что кто-то приезжает не один, а буйной компанией. И начались такие преувеличенные восхваления и славословия, что мне не по себе стало. Я не нуждаюсь в преувеличениях, у меня есть своя реальная судьба. Я все это лето чувствовал себя хорошо, здоровым, нормально спал. А тут у меня такой неприятный осадок остался, что я принял снотворное, и оно не помогло, потом принял еще раз. Я решил написать ему письмо с тем, чтобы прекратить отношения. Ну, и я не так сегодня встал и неважно себя чувствую.

— Бедный Борис Леонидович!

Что-то в этих словах его удивило, и он переспросил:

— Как вы сказали?

— Бедный! Еще и это на вас свалилось.

Он взял мою руку, погладил ее, поцеловал. У него было удивительное лицо: расстроенное и детски-недоумевающее перед человеческой пошлостью.

В этот день ко мне заходили рабочие, чинившие крышу, домработница, шофер — всем им было любопытно посмотреть портрет, и все в один голос говорили, что похож.

Целуя руку, Б. Л. сказал:

— Вы меня скоро возненавидите за то, что вам — столько возни со мной.

— Это намек на то, что вы готовы возненавидеть меня за все беспокойства?

— О, нет, нет! — улыбаясь, отвечал он.

— А вы опять совсем другой сегодня.

— Усталый?

— Что-то другое. Исчезла мягкость, лицо обтянуло кожей.

— Я мало спал.

— Опять?

— Нет, нет, просто рано проснулся. Но я сегодня поработал.

— А что подельывают ваши герои?

— А, я наращиваю начало. То начало, что было написано, отодвигается в середину. Действие начнется в сороковых годах, я вам говорил?

— А потом перенесется на двадцать лет?

— Да, а потом еще раз на двадцать лет.

— А герои будут те же?

— Часть из них. Но с моей стороны недобросовестно говорить об этом, может, все изменится, может быть вообще ничего не будет.

Он расспрашивает о поездке, задает много вопросов. Меня снова поражает его память. Во многих из этих мест он был 44 года назад — хорошо, если через год я буду помнить так живо.

— На Каме я вспоминала «Был утренник».

— А вы знаете, — улыбается он, — что я не люблю своих старых стихов.

— Слышала, — грубовато отвечаю я, — если бы вы были правы, они бы так не действовали.

— А это стихотворение отец как-то принял. Есть такое отношение к литературе, что все крупные писатели были в прошлом, а в современности ничего хорошего быть не может. Оно мне нравится.

— Ну, как это может вам нравится!

— Нет, очень нравится, — он опять чему-то улыбается. — Так вот у отца было такое отношение. Он поклонялся Толстому, а все последующее — символизм, футуризм и прочее — не признавал. И моим писаниям в семье не очень сочувствовали. Отца порадовало бы только то, что я в последнее время написал. Жаль, что он не прочел...

А вот когда я ему показал это стихотворение — «Был утренник», он меня полупринял, сказал: тут что-то есть. Потом в семье привыкли, что у меня есть какое-то имя, это их, конечно, радовало, но было не совсем понятно.

— А мать как относилась? Вы мне никогда не рассказывали о ней.

— Мать была хорошей музыкантшей. Когда отец ездил в Ясную Поляну, он брал ее с собой, и она там играла. Она училась в Вене у известного профессора. Не непосредственно, а через одно-два звена он был учителем Рахманинова, Скрябина и других. В восемь лет она уже играла в концерте Шопена с оркестром.

— Она была профессиональной пианисткой?
— Нет. Играла в концертах, но очень редко. Она давала уроки музыки. Она вся отдалась семье, детям. Но она создавала определенную атмосферу дома. Без нее, вероятно, отношения со Скрыбиным были бы не такие.

— Значит, Скрыбин — это ее дружба, не отца?

— Нет, общая.

— По-видимому, судьба вашей матери — это история еще одного женского таланта, загубленного ради семьи?

— Да. Так, как вы сказали, к этому относились сестры. Они чтут ее память, боготворят ее и преувеличивают. А преувеличивать не надо. Если говорить или писать спокойно, то о том же самом можно сказать гораздо больше, чем с истерическими ахами и восторгами.

— Да, сдержанность — признак силы чувства.

— Потому мне так неприятны были преувеличенные восхваления друга, вовсе не из скромности, а потому что в этом была фальшь.

— Вы ему написали?

— Да. Я взял всю вину на себя, написал, что это я к нему несправедлив, но попросил прекратить отношения. И еще я в этот же день написал своему переводчику в Америке.

— Воспользовались тем, что были злы?

— Да. Он переводит старые стихи, чего вовсе не нужно делать, в связи с этим задавал мне всякие вопросы, в том числе о Лермонтове; я ему ответил, а он опубликовал, что состоит со мной в переписке и что-то напечатал из писем, не указав, какой удельный вес все это положительное в них занимало. Теперь я ему написал очень резкое письмо.

— Это профессор Калифорнийского университета?

— Да. Я вам это рассказывал? — удивился он.

— Вы о нем говорили мне в прошлом году.

— Такая же история вышла с Бурлюком. Я вам ее расскажу.

Он задумался.

— Есть люди, одержимые страстью писать, графоманы. Это — простите мне такое сравнение — то же, что гомосексуализм, это их личное дело, но не к чему его выставлять на показ.

Бурлюк — сведущий, образованный человек. Он был знаком с современным западным искусством и познакомил с ним Маяковского. Маяковский был ему за это благодарен. Бурлюк был организатором — устраивал встречи, вечера, но сам, с моей точки зрения, был пустым местом.

Однажды, я об этом писал, был вечер, на котором произошла встреча Андрея Белого и Маяковского. Маяковский в то время обладал огромным обаянием, действовал ошеломляюще. Андрей Белый — очень талантливый человек, но в нем было много рассудочного, он все строил по схемам. Если у него появлялось естественное, нечаянное сумасшествие, он спешил тут же возвести целый поселок канатчиковых дач.

Так вот, на этом вечере Маяковский читал. Там были Цветаева, Балтрушайтис. Белый слушал Маяковского вот так...

— Б. Л. юношеским мгновенным движением вытягивает шею, приоткрывает рот и блестящим жадным взглядом впивается в меня. Мне даже как-то не по себе, но он тут же меняется.

— Белый говорил о своем впечатлении, сказал, что Маяковский — единственный, я с этим был согласен. А в коридоре подошел ко мне Бурлюк и стал говорить: «Ну, зачем он так, «единственный», есть ведь и другие, вы, например».

Через несколько дней Маяковский должен был читать стихи публично. Андрея Белого пригласили, он с радостью принял приглашение. Маяковский имел огромный успех. После его выступления Бурлюк вдруг заявил: «Здесь в зале присутствует Андрей Белый, попросим его сказать свое мнение».

Ну, к чему это? У него все построено на рекламе. Он уехал в Америку и стал там создавать всякие документы. Ну, например, он писал письма Горькому. Горький, как воспитанный, вежливый человек, ему отвечал. Если письмо было ругательно, то теперь фотографируется и печатается один конверт, а о содержании письма умалчивается. Или на пляже в купальном костюме сфотографирована Лиля Брик, а где-то сзади, в отдалении стоит Бурлюк. Ну, что это должно доказать? Что существует какая-то связь между Бурлюком и Лилей Брик?

Бурлюк еще и живописует.

Его жена издает журнал, он посвящен главным образом Бурлюку. Невозможно читать. Он гений саморекламы. Ну, чего стоит известность, если знаешь, что сам искусственно соорудил ее своими руками?

Она мне присылает журнал через Союз писателей, это Союз мне передает. Я всегда избегал Бурлюка, и он мог это понять — столько ведь было случаев завязать отношения. Он действует назойливо.

— Но ведь старые литературные связи — это, вероятно, единственный капитал, который он вывез в Америку. Надо же ему на что-то жить. Это мне напоминает источник доходов несостоявшегося английского короля — я как-то видела в американских журналах нескончаемую серию его воспоминаний о жизни при разных дворах. А Бурлюк и сейчас пишет стихи?

— А, да.

И вдруг Б. Л. начинает бубнить какую-то несусветную чушь, что-то о голодном брюхе, вместившем нечто неудобоваримое. Лицо его глупо застыло, а в глазах бегают чертики, получается ужасно смешно.

Когда он говорил о деятельности Бурлюка в России и вспоминал связанных с ним людей, я подсказала — Каменский.

— Да, Каменский, — подхватил он. — Каменский — русский человек, который знает русский язык, грамотный. Но этого еще недостаточно.

— «Ядреный лапотъ пошел гулять по берегам», — напоминаю я.

— Это еще ничего, у него почище было. А кому все это нужно? Я этот профиль всегда вижу? Это хороший профиль. И в три четверти хорошо.

— Знаете, Борис Леонидович, каждый раз, как я прихожу, и это не только с этой работой, но и с другими, мне кажется, что ничего не сделано и надо начинать с самого начала. Я по приезде взялась со свежими силами заново.

Он ласково говорит:

— Вы такая умница и так все чувствуете, и искусство тоже. Но я хочу вам сказать, что должна быть в работе дисциплина и сроки.

— Они у меня назначены.

— Я вам это вовсе не потому говорю...

— Нет, нет, на этот раз вы бескорыстны, я понимаю.

Идет дождь. Я сетую, что легкомысленно оделась.

— Как, вы без пальто приехали? — ужасается Б. Л.

— Нет, пальто вот висит. На голову ничего не взяла...

— Я вам что-нибудь дам.

— О, не беспокойтесь, я так добегу.

Я прошу его постоять молча, чтобы поработать над ртом. Он терпеливо позирует, наконец я его отпускаю.

— Я с вами еще не прощаюсь, я вам что-то скажу, — говорит он.

Б. Л. уходит в дом и вдруг появляется, неся в руках свою жесткую фетровую шляпу и старую серую кепку. Я, вероятно, вытаращиваю глаза, потому что, показывая на шляпу, он спрашивает:

— Этого, кажется, женщины не носят?

Я смеюсь.

— Безусловно, не носят.

— А вот это вам, наверно, подойдет, — протягивает он кепку. — Наденьте.

Он водружает ее мне на голову.

— Даже идет.

— Наверно, я похожа на беспризорницу двадцатых годов. Вы зря беспокоитесь, ничего мне не сделается. Спасибо.

— Нет, нет, непременно возьмите. Больше ничего нет, а зонтик унесли.

Он относит шляпу в дом и под дождем без зонта уходит в калитку. Дождь льет как из ведра, и мне приходится, во избежание верной простуды, нацепить его кепку. Правда, я избираю путь на станцию не по шоссе, а по размокшей тропинке, и всю дорогу меня разбирает смех.

24 сентября 1959 г.

Я все-таки простудилась и в субботу не поехала работать. В воскресенье 20-го я увиделась с Б. Л. на концерте Станислава Нейгауза в Доме ученых, и мы условились на четверг.

Работу в этот день я начала с глаз. Это требовало неподвижности и молчания. Когда, наконец, можно было говорить, мы обменялись впечатлениями о концерте, и я обрадовалась их совпадению.

— Да, знаете, Борис Леонидович, я получила письмо от Асева.

— От Асева? — он очень заинтересован и засыпает меня вопросами.

Я ему рассказываю, при каких обстоятельствах послала Асеву к его семидесятилетию письмо. Ответ пришел в день моего отъезда, домработница положила его в мою шкатулку и забыла сказать. Дня три назад я стала что-то искать в шкатулке и увидела нераспечатанное письмо. Оно оказалось милым, откровенным. Асеев написал кое-что лестное о моих стихах, приглашает повидаться.

— Обязательно повидайтесь с ним. Он хороший, умный, значительный человек. То, что я с ним не встречаюсь, — одно из пятен на моей совести. Но так сложна и заполнена жизнь, столько в ней всяких дел и забот, что не хватает времени. А если уж встречаться, то надо часто. А вы непременно поезжайте, вам с ним будет интересно.

— А ему? — тихо спросила я.

Он нахмурился.

— Мне неприятно это слышать.

Потом, поговорив о другом, сказал:

— Это не ответ на ваш вопрос, но вы так тонко и верно все понимаете и чувствуете, что он будет рад познакомиться с вами. И потом у вас есть самостоятельный опыт, это очень существенно.

— А знаете, что, между прочим, он написал? «В Ваших стихах есть культура, но культура не самостоятельная, а скорее пастернаковского оттенка». Унюхал-таки!

— Что вы говорите! — он удивлен и обрадован.

— А что вы ему послали? Наверно, «Дар» и «Творчество»?

— «Творчество» послала, а другие стихи вы не знаете.

— Прочтите, если это вам не помешает работать.

От волнения я читаю очень тихо, не своим, глухим голосом стихотворение «Притяженье». Он слушает, подавшись вперед, внимательно, чуть улыбаясь. Одну строчку просит повторить. Не сразу говорит:

— Хорошие стихи. Особенно хорошо, что дождь танцует для того, чтобы привлечь выносливостью. В них нет ничего лишнего, они собраны. Вы когда к Асеву поедете?

— Прошло столько времени, я написала снова, объяснила, как вышло, и спросила, можно ли теперь приехать. Вы за грибами ездили?

— Ездил в прошлый четверг. Лес был какой-то странный, я никогда такого не видел. Не было никаких поганок, валуев, изредка попадались лишь мухоморы, а если встречались грибы, то только белые, но немного. Набрали штук сорок. Сейчас очень хорошо в лесу...

— Вам хорошо писалось это время?

— Вчера я очень хорошо поработал. А сегодня встали что-то позже обычного, и я читал.

Не помню, как мы перескочили на философию. Он сказал, что много интересного есть у Ницше — не в части проповедил зла и силы, а в акценте на субъективизм, даже на привередливое и несправедливое. Это объединяет его с Достоевским!

— Мне кажется, что он привлекает вас потому, что такое отношение к личности восстанавливает попорченную индивидуальность.

Он чуть озадаченно отвечает:

— Может быть, так. А сейчас я вам назову имя, которое вы, вероятно, не знаете. Вы, верно, заметили, что скандинавскую литературу отличает какая-то особая свежесть, оригинальность. В середине прошлого века был такой датский мыслитель Кьеркегор. Он считался писателем и поэтом, но это у него не так интересно, а вот очень примечательны его статьи. После них я прочитал сборник статей о Ницше, и он мне показался плоским.

Он трудно для меня говорит о содержании философии датчанина, подчеркивает, что это не эпоцентризм, нет, но из его слов становится ясно, что речь идет о какой-то гуманной разновидности субъективного идеализма.

— Мне кажется, что истина лежит не в субъективизме, — бодро вещаю я, и он улыбается такой самоуверенности, — вероятно, я прирожденный эклектик, но, по-моему, истина рождается в столкновении субъективного начала с объективным.

И он вдруг горячо соглашается с этим.

— Скажите, Борис Леонидович, какое влияние, по-вашему, оказали ваши занятия философией на ваше творчество?

Он трижды открывал рот, чтобы ответить, но он не так стоит, как мне нужно, и я ему не даю начать, требуя, чтоб он повернулся. Он разозлился и сказал:

— Я лучше постою молча.

Но это меня не устраивает, и немного погодя я спрашиваю:

— Есть сейчас на Западе по-настоящему значительные поэты?

Он в затруднении:

— Я как-то не готов к этому вопросу. Э-э... Погодите. Ну конечно; в Англии есть. Эллиот и Оуден. Во Франции хорошие поэты Кокто и Рене Шар.

Я их не знаю, и он предлагает мне антологию современной английской поэзии.

Он ушел, а через час что-то заставило меня оглянуться, и я увидела, как он под дождем вытаскивает из-под лестницы клеенки, чтобы покрыть вынесенный на террасу мой большой станок. Я побежала к нему.

— Пустите. Больше некому это сделать?!

— Ничего, ничего. Я сам. Вы промокнете.

— А вы?

Мы подергали друг у друга клеенки и вместе отнесли их на террасу и застелили станок.

Я ушла в гараж, и он снова показался, на этот раз без плаща — в синем пиджаке, заправленных в сапоги брюках и в кепке.

— Опять вы под дождем ходите! — проворчала я.

— Я вам книжку принес.

Перешагивая через лужи, он пошел в дом.



30 сентября 1959 г.

Снимая белые, связанные из грубой шерсти перчатки, он извинился, что так поздно, и стал рассматривать работу.

— Ну, теперь можете говорить про портрет все что угодно, меня это уже не волнует. Я получила оценку от самого авторитетного судьи.

Он явно заинтригован:

— От кого же?

— Тут ко мне в прошлый раз приходили две девицы.

— Ваши знакомые? Вы пригласили?

— Нет, ваши. Одной из них два года, другой пять. Младшая спрашивает: что это? А старшая говорит: разве не видишь, Борис Леонидович.

— А, это Таня, наверное.

— Да, мы познакомились. Я ее спросила: тебе кто-нибудь сказал, что это Борис Леонидович? Она ответила: сама догадалась.

Ему, видимо, понравился этот случай.

Я заговорила об антологии.

— Неужели вам нравится Эллиот? — спросила я.

— Нет, не очень. Оуден лучше, правда?

— Да, но тоже не слишком. Чтение этой антологии навело меня на размышления о русской литературе. Ей свойственно в ее лучших представителях бить по главным целям, решать важные проблемы, а тут, пусть умное и талантливое, но копанье в чем-то второстепенном, малозначительном. Эллиот открывает какие-то новые миры, но они мне не нужны. Вот ваши стихи мне необходимы, как хлеб, как составная часть духовной жизни.

— Ах, оставьте! — перебивает он.

— Да погодите, я говорю не о вас. А без того, что они делают, я могу прекрасно обойтись, это для меня роскошь. И это любованье собственным старческим маразмом у Эллиота!

— Да ведь это все позированье, ломанье!

— Тем хуже!

— Вы правы. Все, что вы говорите, очень верно, я могу обеими руками подписаться под этим. Вот и надо писать о важном. Мне хотелось бы, когда я развяжусь с пьесой... Пока было много предложений на переводы, и я от них отказывался, а после пьесы я наберу их побольше.

— Чтоб накопить денег?.. Как досадно! Неужели нельзя без этого обойтись?

— А как?

— Может быть, этого можно избежать? Так ли это необходимо?

— Нет, ничего нельзя поделаться, придется... Ну, вы были у Асеева?

— Завтра пседу. Можно ему сказать, что я леплю ваш портрет?

Он удивлен вопросом:

— Да, конечно!

— Я потому спросила, что когда-то у нас был уговор не говорить об этом никому лишнему. Я до сих пор его соблюдаю.

— Можете говорить кому хотите. Это потому было, что я не хотел, чтоб другие, кому я отказывал, обиделись. А пусть обикаются!

Разговор снова зашел о связях между философией, искусством и жизнью, и я сказала, что у меня есть формула: искусство — одна из форм жизни. Не отражение, не познание ее извне, а такая же форма жизни, как другие. И он очень одобрил эту мысль. Я еще высказала убеждение, что яркие, сильные произведения могут рождаться только у яркой, сильной личности, и он, выражая свое согласие, сказал вдруг:

— Да. Нельзя быть в искусстве жар-птицей, а в быту мокрой курицей.

Внезапность и точность этих слов меня насмешила, он был рад эффекту и смеялся вместе со мной.

— Еще тогда, когда я вам прошлый раз говорил о Ницше, я получил из Франции книги о нем — воспоминания и статьи. Я их мог бы так же прекрасно прочитать по-немецки, но вот пришлось по-французски. Он меня очень разочаровал. Он вызывает жалость, это неудачник. У него были способности к музыке, он прекрасно импровизировал. Он был почти мальчиком, и его игру слушали Лист и Вагнер. Потом он рисовал. Но как-то из этого ничего не вышло, и он занялся философией.

Б. Л. подробно и с увлечением говорит о легкости, с какой можно создавать эти произвольные, не связанные с жизнью и опытом построения, и о том, что философия, обоснованная, отражающая нечто реальное, может создаваться только людьми, занятыми созидательным трудом. В пример приводит Пушкина:

— Как он хорошо думал...

Он смотрит на часы и говорит:

— Через десять минут я буду принимать душ на свежем воздухе.

В этот день было градусов семь выше нуля с ветром.

— Вы что, в дервиши записались или в йоги? Что за самоистязание?

Он улыбается.

— У меня вообще холодный режим. Его несколько нарушила болезнь, а теперь я опять это делаю.

— А как в вашей работе — конец еще не провидится?

— Она движется, но медленно. Пьеса большая. Я работаю один час в день.

— А почему так мало? Причины этому внутренние или внешние?

— Просто запаса свежести хватает на один час. А потом начинается ожидание писем...

Сеанс кончился.

Я мыла в ванной руки, когда туда зашел Б. Л. Он был в ликаме, со спутанными волосами, с полотенцем через плечо. Когда он такой домашний, в нем есть трогательная привлекательность — исчезает волевое самосознающее начало.

7 октября 1959 г.

Я отвернулась от работы и смотрела, как он шел от дома к гаражу. Когда он встретился со мной взглядом, по лицу его стала разливаться та улыбка, когда он возвращает губы на место не сразу дающимся волевым усилием. Он посмотрел портрет.

— Опять произошло значительное улучшение.

Он позировал как вкопанный, а я напряженно и сосредоточенно работала.

— Я хорошо стою?

— Как первоклассный натурщик. Вы сегодня поработали?

— Да, писал.

— А вы были правы, разговор с Асеевым состоялся. Когда я отправлялась туда, я думала, ну, чего я еду, о чем я буду разговаривать? Но проговорили мы с ним шесть часов.

— Ого!

— И не потому, чтоб я так забылась.

— Он вас не отпускал?

— Даже не совсем так. Когда я поднималась уходить, он заводил длинный разговор или начинал читать стихи.

— Я вас намеренно не спрашиваю, говорили ли вы с ним обо мне. Мне важно одно знать: сказали ли вы ему, что я о нем хорошо отзывался? Раньше этого не было, и это было бы для него интересно.

— Нет, не говорила. Он к вам несправедлив. Он резок на язык, я этого не желала терпеть, и мы разругались. Был момент, когда я думала — переведу разговор на другую тему, посижу минут пять и уйду. Но он сказал: вам делает честь, что вы его так любите и защищаете. Я его ругаю только тем, кто его любит, а перед противниками защищаю. Но сквозь все, что он говорил, чувствуется опромная к вам любовь. Он читал множество ваших стихов.

— Старых?

— Да, старых. В поэтическом его хозяйстве хаос, а ваши письма лежат в ящике стола сверху, подколотые к картонкам с перепечатанным на машинке текстом.

— Это, наверное, очень старые письма.

— Вероятно. Одно того времени, когда вы переводили «Антония и Клеопатру».

— Нет, нет, я вспомнил, одно письмо я написал не так давно. Он вас чаем поил?

— Да.

— И с женой вы познакомились?

— Да. Принимали гостеприимно. В отличие от некоторых моих знакомых поэтов он охотно читал свои стихи. Два мне понравились, он тут же вытащил машинку и перепечатал их для меня.

— Это, наверно, старые стихи? — ревниво спросил Б. Л.

— Да. Одно времен войны, а второе написано в 47 году. Вы это знаете?

Зачем вы не любите, люди,

Своих неподкупных поэтов...

— Да, знаю. Это о Гоголе из поэмы «Гоголь». А как его здоровье?

— Видимо, неважно. Выглядит он старым.

— Эх, Коля, Коля Асеев, — вздохнул он. — В «Биографическом очерке» Асеев и Цветаева упоминаются рядом. Я там был очень экономен в словах, всему уделяя лишь несколько слов. Я говорю о том, что в то время только они умели писать стихи — никто не умел... Да, а Асеев, видно, очерка не читал, судит с чужих слов. Я ведь в очерке хорошо о нем отозвался... Но при таких давних, проверенных отношениях с людьми временные недоразумения не имеют значения... Я вам, кажется, говорил, что решил взяться за переводы. Кальдерона мне устроили... И понималось, что можно его не переводить. Я по этому договору ничего не получил и ничего никому не должен. По сравнению с Шекспиром Кальдерон — оперетка. Я вам это говорил?

— Так вы его раньше не ругали.

— А тут оказалось, что это вправду нужно. Я посмотрел договор — срок через две недели. Это, конечно, чепуха. Я позвоню, если мне дадут два месяца, я сегодня же примусь. Есть еще Незвал, я вам говорил, и еще кое-что, это даже не оформлено.

— Но вы будете оставлять час в день для пьесы?

— О, да. Утро — да.

— Смотрите!

— Незвала я начал. У него есть стихотворение на тему, уже сто раз обыгрывавшуюся в поэзии, — о собственной незаменимости. Ну, о том, что когда он уйдет, никто его не заменит. Но он по-своему и хорошо решил ее. Это я помню.

Что-то побормотав, он начал читать. Как он читает! Тихо, раздумчиво, вслушиваясь в мысль, и удивляясь ей, и восхищаясь. Вокруг стало темно, все исчезло, и только от лица исходило теплое свечение. И все это с абсолютной простотой и сдержанностью. Мне как художнику это не вполне понятно — как достигается такая сила впечатления при полном отсутствии видимых средств выразительности. Вот и говори, что душа не существует.

Ничего этого я ему не сказала и, переборов волнение, спросила:

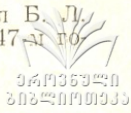
— И на остальном у Незвала лежит печать такого своеобразия?

— Да. Я его недооценивал. Стихи его индивидуальны.

Он называет двух поэтов, от которых шел Незвал.

— Ну, и меня он высоко ставил.

Оказывается, Незвал давно хотел установить с ним контакт, приезжал к нему, несколько раз они встречались, но Б. Л. оценил его лишь как милого, приятного человека, а как поэта только теперь, после смерти. Незвал умер год на-



зад, и вдова его очень просила Б. Л. сделать перевод. Б. Л. говорил мне об этом в прошлом году.

— Незвал — первый поэт Чехословакии, он был признан. По убеждениям он социалист в широком понятии. Он хотел, чтобы не было угнетения, чтобы рабочий не работал на хозяина, был свободным — у него хорошие взгляды.

— Хорошо, что вы его теперь оценили, хотя лучше цветы при жизни.

И, вероятно, в связи с этим Б. Л. высказал мысль, что отклик художник должен получать при жизни.

— А зачем? — спросила я.

— Нет, что-то, не знаю, слава или признание или еще какой-то ответ в жизни должен быть, это нужно.

— Ну, зачем, зачем? — настаивала я.

— Потому что искусство живет в других.

— Вы правы, но плохо, что вы это знаете. Это ослабляет. Я буду очень рада, если в пьесе вы подыметесь выше того, что вами уже достигнуто.

— Ну, пьеса пока еще знаете что? Перед тем, как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Так вот, сейчас пьеса — это газетный слой.

— Подмалевок?

— Да. Это пока запись сюжета и событий, литература, а уже потом будет становиться жизнью...

— А вы «Войну и мир» в кино видели?

Он увлеченно подхватывает тему.

— Да! Многие говорят, что это не Толстой, а мне понравилось.

— По-моему, надо к таким вещам подходить как к совсем новым произведениям, забывая о первоисточнике и не ища с ним аналогий.

— Это верно. Я и не допускал никаких сравнений с Толстым.

— Главное, живет или не живет.

— Живет, живет! Мне говорили, что актриса, которая играет Наташу, какая-то особенная. А мне показалось, что она не так уж выделяется, что все слито. И сделано это с такой любовью к России. Я, например, совсем не помнил у Толстого, как возвращаются после пирушки у Долохова, что рассвет, какая-то улица с булыжниками. Наверно, они многое сами внесли.

— Да. Ведь даже если чтец вам прочитает слово в слово знакомый рассказ, то это уже будет новый, чем-то не знакомый вам рассказ, а тем более перевод на язык другого искусства и сделанный людьми другой страны.

— Это очень верно, очень правильно, что вы говорите.

— Это нелепое сравнение, но меня не слишком огорчило, что вы не нашли Лару похожей. От вашего толчка у меня родилось что-то другое, свое, и это хорошо.

— Верно. А я думал даже, что вы скажете это о портрете. Конечно, плохо, когда совсем нет сходства и трудно узнать, но должно быть свое толкование.

— Да и невозможно быть всеобщим угодником.

зад, и вдова его очень просила Б. Л. сделать перевод. Б. Л. говорил мне об этом в прошлом году.

— Незвал — первый поэт Чехословакии, он был признан. По убеждениям он социалист в широком понятии. Он хотел, чтобы не было угнетения, чтобы рабочий не работал на хозяина, был свободным — у него хорошие взгляды.

— Хорошо, что вы его теперь оценили, хотя лучше цветы при жизни.

И, вероятно, в связи с этим Б. Л. высказал мысль, что отклик художник должен получать при жизни.

— А зачем? — спросила я.

— Нет, что-то, не знаю, слава или признание или еще какой-то ответ в жизни должен быть, это нужно.

— Ну, зачем, зачем? — настаивала я.

— Потому что искусство живет в других.

— Вы правы, но плохо, что вы это знаете. Это ослабляет. Я буду очень рада, если в пьесе вы подыметесь выше того, что вами уже достигнуто.

— Ну, пьеса пока еще знаете что? Перед тем, как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Так вот, сейчас пьеса — это газетный слой.

— Подмалевок?

— Да. Это пока запись сюжета и событий, литература, а уже потом будет становиться жизнью...

— А вы «Войну и мир» в кино видели?

Он увлеченно подхватывает тему.

— Да! Многие говорят, что это не Толстой, а мне понравилось.

— По-моему, надо к таким вещам подходить как к совсем новым произведениям, забывая о первоисточнике и не имея с ним аналогий.

— Это верно. Я и не допускал никаких сравнений с Толстым.

— Главное, живет или не живет.

— Живет, живет! Мне говорили, что актриса, которая играет Наташу, какая-то особенная. А мне показалось, что она не так уж выделяется, что все слито. И сделано это с такой любовью к России. Я, например, совсем не помнил у Толстого, как возвращаются после пирушки у Долохова, что рассвет, какая-то улица с булыжниками. Наверно, они многое сами внесли.

— Да. Ведь даже если чтец вам прочитает слово в слово знакомый рассказ, то это уже будет новый, чем-то не знакомый вам рассказ, а тем более перевод на язык другого искусства и сделанный людьми другой страны.

— Это очень верно, очень правильно, что вы говорите.

— Это нелепое сравнение, но меня не слишком огорчило, что вы не нашли Лару похожей. От вашего толчка у меня родилось что-то другое, свое, и это хорошо.

— Верно. А я думал даже, что вы скажете это о портрете. Конечно, плохо, когда совсем нет сходства и трудно узнать, но должно быть свое толкование.

— Да и невозможно быть всеобщим угодником.

чизаю свой жизненный круг, осталось мало времени, но ее хочется завершить.

— Ах, кто об этом что-нибудь знает! И дело не в абсолютном времени, а в том, как и чем оно наполнено.

— Да, это верно. А к Кальдерону я был несправедлив. Это при первом соприкосновении он казался таким, а за внешним слоем есть другой, глубже и интереснее. Это очень высокая культура выражения, гораздо разработанней, чем у Шекспира. Настолько разработанная, что многое становится условностями, символами. Там есть место, когда полководец рассказывает марокканскому султану о появлении испанского флота. Сначала вдали показались скалы, потом они превратились в облака, потом в плывущих чудищ и, наконец, в город с башнями, и все еще нельзя было догадаться, что это корабли. У меня в записи ничего не вышло, а рассказывал он как сказочник, с поразительными деталями, заставляя все видеть.

— Так ведь это же чудесное описание перевернутого миража! Возьмите книгу Миннарта «Свет и цвет в природе», там даже рисунки к этому явлению есть.

— Мне кто-то говорил про эту книгу, кажется, она у нас есть в доме.

— Такие книги должны читать литераторы, а не всякую там художественную литературу. Это прекрасная книга.

— Ну, что у вас нового? Где вы были, что видели? Как здоровье Дмитриева?

— У меня было недавно потрясение. Я впервые слышала баховские «Страсти по Иоанну».

— Где это? Как вам удалось?

— У Дмитриева. Ему принесли немецкие пластинки. Мы читали Евангелие от Иоанна, ваши стихи и слушали Баха. Вы знаете, что я склонна к преувеличениям и временным увлечениям, но сейчас мне кажется, что это самая великая музыка, какую я слышала.

— Это там петухи поют, скрипочка так делает? — показывает он неуловимым жестом.

Я не помню этого, произведение опромное, а слышала всего один раз.

— Его передавали как-то. Откуда же я запомнил эту скрипочку. А разве Дмитриев не знает этих стихов?

— Нет.

— А мне казалось, ему передавали их. Вы с ним часто видите?

— Да. Собственно, вижу его не так часто, но звонит он каждый день. Не понимаю, почему его тянет ко мне.

Окончание следует

«ПРАЗДНИК НА ЧЕРДАКЕ»

НЕ ТАК давно русский читатель смог познакомиться с одним из интересных и самобытных грузинских прозаиков, чьи произведения именно в силу их национального своеобразия и наиболее близкой автору формы короткого рассказа с присущим ему тонким лиризмом и глубоким психологизмом трудно переводимы. Теперь, вслед за вышедшим в Тбилиси сборником Реваза Инанишвили «Зарисовки вечерней поры», переведенным Аидой Абуашвили, увидела свет в ее же переводе книжка рассказов того же писателя под названием «Праздник на чердаке», изданная в Москве «Детской литературой». Маленького всесоюзного читателя ждет здесь встреча с новым для него миром, который раскроется в одиннадцати включенных в книжку рассказов Р. Инанишвили, озаглавленную по названию одного из них. Вот эти рассказы: «Тотия приехал», «Где живет сказочник?», «Подарок ледяного деда», «Долгая зима», «История дочери оружейника», «Дедушка Шио и ослик», «Праздник на чердаке», «Молчание в дороге», «Почему ослик ест бумагу», «Освобожденная вода», «Дети и лес». Оформлен «Праздник на чердаке» художником Т. Мирза-

швили, чьи рисунки помогут детям воспринять эти рассказы.

«ЗА ГОРАМИ ГОРЫ»

ОСНОВНОЕ звучание этого поэтического сборника видного осетинского поэта Гафеза — это любовь к родной земле. В созвучии с этим лейтмотивом находится и тема сыновнего долга перед Отчиной, и чувство семьи единой народов нашей многонациональной страны. И, конечно, как всякому лирику, не чужды Гафезу и любовь, и природа, которым посвящено немало стихов в этой книжке, так же как раздумьям поэта о жизни, его переживаниям.

«За горами горы» — не первая встреча русского читателя с осетинским поэтом. Ему уже знакомы его стихи по сборнику «В краю родном» и поэме «Дочь гор».

Названный сборник (издательство «Мерани», 1978) составлен из стихов Гафеза, переведенных на русский язык Л. Озеровым, А. Корневым, В. Краско, А. Парпарой, Л. Рогачевским, Ю. Виленчиком.

«АПОСТОЛ»

ЭТО — последняя поэма замечательного венгерского поэта и революционера Шандора Петефи, чье творчество всегда

пользовалось популярностью в Грузии. Герой «Апостола» — революционер, отдающий жизнь за освобождение народа, но не поддержанный им. Несмотря на то, что произведение это трагично, оно все же освещено надеждой. Перевод этой поэмы Шандора Петефи на грузинский язык, осуществленный Григолом Абашидзе, вышел отдельной книжкой в издательстве «Мерани» (1978), и наш читатель благодаря этому получил возможность ознакомиться с названным произведением венгерского поэта — трибуна на своем родном языке.

«ЕВГЕНИЙ БОЛХОВИТИНОВ — ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РУСТВЕЛОЛОГ»

«ИСТОРИЯ руствелологии в России, — как сказано в резюме к этой работе Гурама Шарадзе, — начинается книгой Евгения Болховитинова «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии», изданной в Санкт-Петербурге в 1802 году — в первую же годовщину присоединения Грузии к России».

Как и резюме, из которого приведена эта выдержка, так и названный труд Е. Болховитинова — первого русского руствелолога, значение которого подробно характеризует автор в этом очерке из истории руствелологии, приведены в книге Г. Шарадзе, выпущенной издательством «Мецниереба» (1978) на грузинском языке, по-русски, аналогично и ее названию. — При чем, труд «Историческое изображение Грузии...» Болховитинова

представляет собой точное воспроизведение издания 1802 года.

Резюме же, в форме тезисов передающее содержание книги Г. Шарадзе, поможет русскому читателю, хотя и в сжатом виде, ознакомиться с трудом грузинского исследователя, анализирующего роль и значение руствелологической деятельности Евгения Алексеевича Болховитинова (1767 — 1837), члена Российской Академии наук и ряда научных обществ, известного ученого и деятеля культуры своего времени, оставившего многообразное научное наследие.

«ПРОБЛЕМЫ ГОМЕРОВСКОГО ЭПОСА»

АВТОР этой книги Р. В. Гордезиани за цикл работ по гомерологии и эгистике удостоен премии Всесоюзного Ленинского комсомола. В названном издании им исследуются проблемы единства, формирования гомеровского эпоса, отношения данных «Илиады» и «Одиссеи» к истории стран Эгеиды позднебронзовой эпохи. Опираясь на анализ их композиции, исследователь делает попытку выявить принципы структурной симметрии в гомеровском эпосе.

Специально рассматривается в этой книге, вышедшей на русском языке в издательстве Тбилисского государственного университета (1978), и вопрос об отношении Гомера к письменности.

Поскольку автором затронут один из аспектов древней цивилизации, данное издание, надо полагать, заинтересует не только филологов, историков и археологов, но и тех читате-

лей, которых привлекают эти вопросы.

КАЛЕНДАРЬ НИКО ПИРОСМАНАШВИЛИ

ЭТОТ большой настенный художественно оформленный календарь на 1979 год, выпущенный Союзом журналистов Грузии, содержит высказывания о Нико Пиросманашвили Ладо Гуднашвили, Жана Кейна, Константина Симонова, Тициана Табидзе, приведенные на грузинском, русском и английском языках, а также четырнадцать репродукций работ художника в цвете.

На всю обложку дана его картина «Рыбак». На темном фоне в красной рубаше, соломенной шляпе, с рыбой — в одной руке и зеленым ведром — в другой — изображена фигура рыбака, стоящего в воде. Далее, по месяцам в календарной последовательности на черном фоне, над самими календарями идут репродукции со следующих пиросмановских работ: «Кутеж с организмом», «Шота Руставели», «Царица Тамар», «Шакал», «Косуля у ручья», «Пир во время сбора винограда», «Бездетный миллионер и бедная женщина с детьми», «На гумне», «Лев», «Ишачий мост», «Лекарь на осле», «Натюр-морт», «Крцаниси».

Даже только эти произведения замечательного художника позволяют судить о народных истоках его творчества, о глубоко национальной его сущности, об общечеловеческом его значении. В подтверждение этого приведем слова Ладо Гуднашвили: «Тверчество Нико

Пиросманашвили — народное, оно неотрывно от каждой живой жизни народа». Кейн писал в журнале «Курьер Юнеско», что оно «выходит за пределы Грузии своей чисто человеческой сущностью и талантом, оно наполняет сокровищницу мирового искусства».

«МИХАИЛ ЧИКОВАНИ»

ПО СЛОВАМ действительного члена Академии художеств СССР М. Алпатова, чье высказывание предпослано этому альбому, «М. Чиковани — большой мастер живописной композиции. Он точно чувствует цвет, тональность и световые отношения. В его работах природный дар художника выступает в сочетании с высокой эстетической культурой».

А в статье кандидата искусствоведения Лидии Златкевич, посвященной творчеству художника, сказано, что оно впитало в себя все лучшие достижения русского театрально-декоративного искусства, всю многовековую грузинскую культуру и потому принадлежит к числу развивающихся и непрерывно обогащающихся явлений. «Оно, — читаем в этой статье, — действительно вечно молодое, вечно молод и никогда не состарится и сам художник, потому что старость — это остановка, а он всегда в пути».

Текст в альбоме «Михаил Чиковани» (издательство «Хеловнеба», 1978) напечатан на грузинском, русском и английском языках. Его основную часть составляют цветные репродукции работ художника.

КНИГА О ДРУЖБЕ

«Грузино-армянские литературные взаимосвязи в XIX—XX вв.», — так называется исследование Б. Арвеладзе, которое недавно выпустило в свет на грузинском языке издательство «Сабчота Сакартвело».

Автор подробно раскрывает многочисленные факты, свидетельствующие о традиционной дружбе двух братских народов, корни которой уходят в глубину веков.

В монографии подробно рассматривается творчество трех крупнейших армянских писателей-классиков — Х. Абовяна, Г. Сундукяна, О. Туманяна. Однако автор приводит немало интересных сведений о тесных контактах грузинских и армянских писателей, об их культурно-просветительской деятельности, которая способствовала взаимопониманию и укреплению взаимосвязей между нашими народами.

Монография Б. Арвеладзе еще одно свидетельство единства духовных культур двух наций, связанных одной судьбой.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР МАРИКИ БАРАТАШВИЛИ

В ТБИЛИССКОМ Доме актера имени А. Хоравы Театрального общества Грузии состоялся творческий вечер из-

вестной грузинской писательницы Марики Бараташвили, которой недавно исполнилось 70 лет.

Редактор журнала «Сакартвелос кали», председатель кинокомиссии Союза писателей Грузии, драматург, поэтесса, публицист М. Бараташвили и сегодня продолжает вести активную творческую деятельность.

Вечер вступительным словом открыл председатель Театрального общества, Грузии, народный артист СССР Д. Алексидзе.

Доклад о жизни, творчестве и многогранной деятельности писательницы сделал секретарь Союза писателей республики Г. Цицишвили.

В выступлениях представителей общественности особо был отмечен большой успех ее комедии «Стрекоза», которая была поставлена на сценах многих театров и положена в основу одноименного фильма, снятого режиссерами С. Долидзе и Л. Хотивари.

Актеры театра имени К. Марджанишвили показали сцены из пьес М. Бараташвили.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

В ЭТОМ году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося грузинского ученого, одного из основоположников Тбилисского государственного университета, действительного члена Академии наук Грузии Корнелия Кекелидзе.

ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ФОЛЬКЛОРА

Создана юбилейная комиссия под председательством президента Академии наук республики Е. Харадзе. В состав комиссии включены видные ученые, писатели, общественные деятели, работники искусства.

На недавно состоявшемся заседании были намечены планы проведения юбилейных мероприятий, которые пройдут в октябре нынешнего года.

Принято решение издать двухтомник работ К. Кекелидзе по истории грузинской литературы, монографию о жизни и научно-педагогической деятельности ученого и др.

ИЗДАНО В ТУРЦИИ

СТАМБУЛЬСКОЕ издательство «Джеми» выпустило в свет книгу Вахтанга Гоголашвили «Там, где синие горы», переведенную на турецкий язык писателем Мехметом Озгулхи.

Книга пользуется большой популярностью у юных читателей Турции.

ЗАВЕРШИЛА свою работу 18-я конференция Координационного совета по фольклору Академии наук Грузинской ССР.

Были заслушаны доклады, с которыми выступили сотрудники Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели, Тбилисского государственного университета, консерватории, педагогических институтов, а также Батумского и Сухумского научно-исследовательских институтов.

В своих докладах ученые осветили проблемы литературно-фольклорных взаимосвязей с древнейших времен до наших дней.

Были подведены итоги работы фольклорных экспедиций прошлого года. Участники конференции ознакомились с ценными находками произведений народного творчества, обнаруженными во время экспедиций.

49-47/3



О Б А В Т О Р А Х Э Т О Г О Н О М Е Р А

КАВЖАРАДЗЕ Иродион Евстафьевич. Род. в 1893 г. Прозаик, переводчик. Автор нескольких сборников рассказов и документальной повести «Мамед Абашидзе». Переводил произведения А. С. Пушкина, Л. Толстого, М. Горького, русских советских писателей и писателей народов СССР, а также рассказы французских писателей.

РИЖИНАШВИЛИ Ушанги Ильич. Род. в 1940 г. Кандидат философских наук. Автор книги стихов «Три солнца», сборника стихов и рассказов «Зрение», монографии «Эстетическая информация».

СЕРГЕЕВА Ирэна Андреевна. Русская поэтесса, автор очерков, литературно-критических рецензий. Печатается в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева». В 1973 г. вышла ее книга стихов «Гость». Переводит стихи грузинских поэтов.

СПЕКТОР Ушер Моисеевич. Род. в 1936 г. Инженер. Автор литературно - критических статей и публикаций о И. Э. Бабеле: «Новое о Бабеле» (журн. «Вопросы литературы»), «Бабель-газетчик» (журн. «Журналист») и т. д.

ЧАЧАНИДЗЕ Василий Илларионович. Род. в 1912 г. Заслуженный рационализатор и заслуженный инженер Грузинской ССР. Участник Великой Отечественной войны. В 1945-50 гг. работал в дипломатической системе Советского Союза в Италии. Сейчас — научный сотрудник Научно-исследовательского института экономики и планирования народного хозяйства республики. Помимо научных трудов в области техники и экономики — автор книг «Петр Iвер и археологические раскопки Грузинского монастыря в Иерусалиме», «Вокруг портрета Николоза Бараташвили». Сейчас находится в печати его книга «Переводы поэмы Руставели на языки народов мира».

„ლიტერატურული მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური უწყრნალი (რუსულ ენაზე)“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური უწყრნალი (რუსულ ენაზე)

ბამოღის 1957 წლის ივსისიდას. № 3 მარტი 1979 წ.

Сдано в набор 5 февраля 1979 г. Подписано к печати 19 марта 1979 года. 5 печ. листов, усл. листов 8.4. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

Заказ № 374

Тираж 7.000

УЭ 0 1512

40 коп



ИНДЕКС 76117